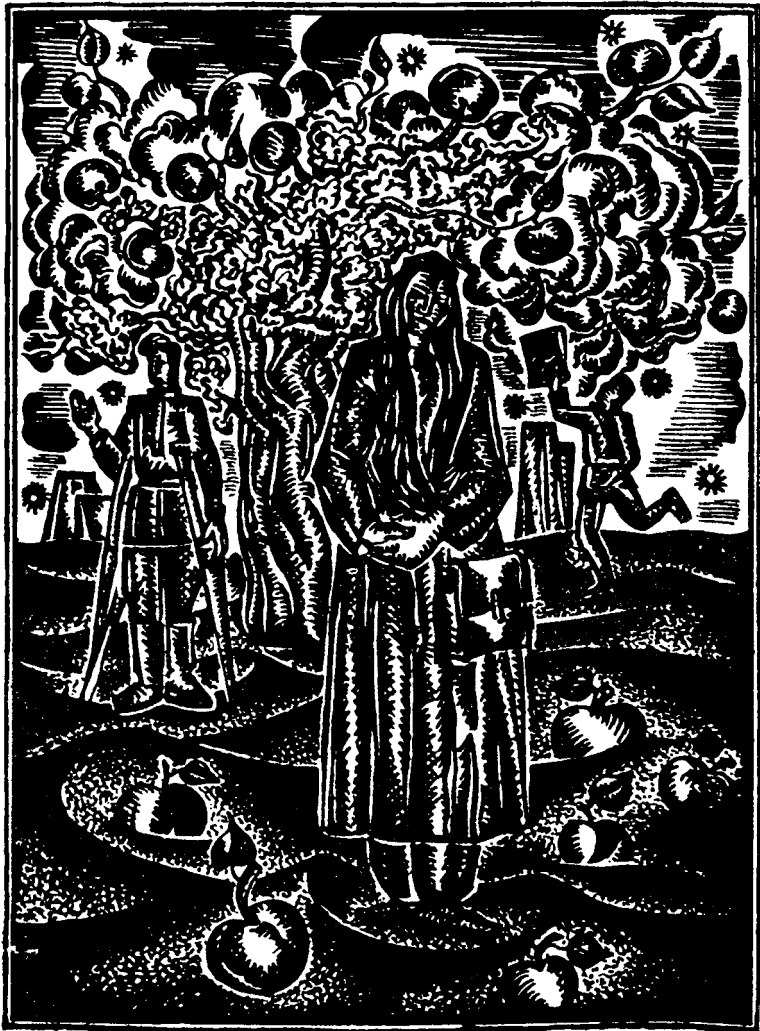


ТИМУР ПУЛАТОВ







людям моего возраста нравится воображать, что они относятся к военному поколению. Для этого у них масса веских причин. И самая веская та, что они помнят первый день войны.

Правда, вовсе не важно, что процентов пятьдесят из них встретило этот исторический момент, сидя на горшке, а остальные пятьдесят — криками в мокрых пеленках. Но это не беда: главное, из рассказов мам и бабушек твердо усвоить, чем ты занимался в тот день 22 июня, и этого вполне достаточно, чтобы причислить себя к так называемому военному поколению...

Если бы всем им установили персональную пенсию, я бы ни шиша не получил. Просто потому, что я не помню первого дня войны. Он почему-то не врезался в мою младенческую память, и, сколько бы я ни изощрялся в красноречии перед комиссией, которая устанавливает пенсии, меня бы выставили за дверь.

Войну я помню с ее сорок первого дня — но за это ведь ничего не дали бы!.. Итак, сорок первый день войны...

Я — Магди. Первого сентября мне будет недоставать каких-то десяти дней до семи лет, и из-за этого меня, наверное, не возьмут в школу. Это моя самая большая беда в жизни.

Мама — врач. У нее всегда такой вид, будто на свете все хорошо и чудесно. Может быть, оттого, что все вокруг только и говорят: мама моя самая красивая, самая-самая милая женщина на нашей улице.

Папа. Дедушка считает, что его со дня на день должны запрятать в тюрьму. Потому что, как выражается старик, папа «страшно либеральничает» с подчиненными. Папа у меня маленький начальник. У него десять человек рабочих, которые только и знают, что целыми днями торчат на столбах и возятся с лампочками.

Дедушка особых заслуг не имеет. Живет в деревне и растит очень вкусные дыни. Он очень смешной и немножко хитрый. О нем можно еще много кое-чего рассказать. Но рассказы эти я приберегу до следующего раза.

Бабушка когда-то была его женой, но она умерла. И перед смертью просила, как можно меньше вспоминать о ней, чтобы ей было спокойнее лежать в земле.

Еще у меня есть дядя, которым я горжусь. Он далеко, на войне, и когда война кончится, он вернется, и мы снова будем сочинять с ним песню... «На веселых, на зеленых, на Азорских островах...»

Наш дом. У нас три маленькие комнаты, где каждый из нас спит отдельно, и одна большая. Зимой там очень холодно и пусто, а летом мама вешает на стену ковер, которому двести лет, и достался он нам по наследству от прапракакой-то там тетки. На ковре двести дыр, как будто кто-то нарочно

31 декабря каждого года сверлит на нем дырочку. Но все равно от этого ковра в комнате становится уютно и красиво.

И еще летом в этой комнате в углу стоит сундук, а на нем до самого потолка штук тридцать одеял. И никто никогда не берет их оттуда, просто они лежат для красоты и ждут, что когда-нибудь к нам разом нагрянут тридцать гостей, и всем будет на чем спать.

Одно только плохо — все окна у нас выходят во двор, и нельзя поглядеть, что творится на улице. Наш двор вроде замка из сказки «Али-баба и сорок разбойников» — все наглухо отгорожено от посторонних глаз четырьмя высокими стенами: попробуй сунься — нос сломаешь! И не только у нас — у всех соседей наших такие слепые и глухие дома. И сколько бы ты ни бегал и ни искал дом с глазами в нашем городе, могу поспорить — не найдешь.

Можно, я не буду рассказывать о нашей улице? Я никогда не говорю о том, что мне не нравится. И вообще, почему я должен рассказывать обо всем по порядку? Смешно!

О соседях тоже не буду рассказывать. Они люди взрослые, пусть о них рассказывает домоуправ. Он-то расскажет, будьте уверены. И про сплетни, и про ссоры, и кто на ком женился, и кто кого обозвал дураком бухарским.

Расскажу-ка я лучше о своих сверстниках. На улице у нас шесть... нет, семь девочек моего возраста и два мальчика, если отнять меня. Девочки с мальчиками не дружат — родители не разрешают. Говорят, так в коране написано, чтобы женщины не дружили с мужчинами, не баловались и не играли с ними. А так как мы маленькие мужчины, то нам нельзя играть с маленькими женщинами.

Ребят, как я уже говорил, только двое, не считая меня. Одного из них, Бахрама, я видел всего два раза. У него грыжа, и он редко выходит на улицу. А со вторым, Кадыром, я дружил и подрался. Он называл моего папу трусом и дезертиром и сказал, что папа боится идти на войну, в то время

как его отец — герой: рубит саблей направо и налево головы немцам. Я ему начал объяснять по-хорошему, но он, дурак, все твердил одно. Тут я не выдержал и так огрел его, что у него под глазом загорелся фонарь. А он, как девчонка, поцарапал мне нос. Ну как после этого называть его другом, если он даже драться по-человечески не может?

Война. Война для меня темный лес. Везде только и слышишь — война, война, но никто не может толком объяснить, что это такое. Все было просто и хорошо, и вдруг начали убивать друг друга. Испортили всем настроение и жизнь. Люди стали нервными и сердитыми. Никто не улыбнется, не скажет ласкового слова. Все помешались на войне.

И чуть-чуть о взрослых. Я их не совсем понимаю, но думаю, что они народ хороший. Плохо только, что придумали войну...

...Итак, сегодня сорок первый день войны...

Проснулся я сразу, как только солнечный блик подкрался к моему левому глазу и начал щекотать его. Осторожно поднес руку к лицу, поймал блик в кулак и, сложив пальцы в трубочку, стал рассматривать солнце. Синие, красные, желтые иголочки лучей запрыгали у меня в руке.

И вдруг я увидел в трубочке черное пятно, испугался и вскочил. Что-то щелкнуло в кровати, потом в комнате, и из маленького репродуктора на винограднике вырвался наружу властный голос отца:

— На зарядку становись! Руки на бедра, ноги вместе, начали...

— Куда ты? — услышал я голос мамы. — Ну-ка, не отлынивай от зарядки!

Я выскочил на улицу, крепко захлопнув за собой дверь.

Черное пятно оказалось головой почтальона. Письмо! Письмо! Нам письмо, как это хорошо, как я люблю, когда к нам приходит почтальон с добрыми вестями!

...Вот тогда-то я впервые увидел твоего отца, Марат.

Он стоял, опустив сумку на землю, и вид у него был такой грустный...

— Где дядя? — спросил твой отец, как-то странно улыбаясь.

— На войне... Письмо от него? Давайте, я не потеряю.

Вместо ответа он потянул меня к себе и начал гладить по голове. Я отступил — что за нежности?

— Мальчик, — сказал твой отец, и голос его я помню по сей день, — скажи маме, что, понимаешь, у всех, у многих сейчас несчастье — война, война... И не плачь, мальчик, будь мужественным. Страшная немилость на нашу голову, будь она проклята! — и подал мне бумажку, одну из тех, которые мы с тобой, Марат, называли потом «черными бумажками».

Но тогда я не понимал, что она черная. Я подумал, что это самая обыкновенная записка от дяди с войны, где он пишет: «Все хорошо, мои дорогие, мы идем, идем по дорогам и лесам России, я смотрю на небо, на деревья, на деревни, и все здесь так же, как пять лет назад, когда я служил в армии. Оно не покоряется войне — небо России, и сколько бы его ни жгли, оно такое же голубое и чистое...» — так дядя писал в прошлом письме.

Я зажал бумажку в кулак и как ни в чем не бывало вернулся во двор. Репродуктор давал последние приказания:

— ...теперь глубокий вдох и выдох — раз, два, три...

— Куда ты пропал, Магди? — спросила мама строго. Она стояла на лестнице, срезала с виноградника синие ягоды в поднос.

— Я... ничего, просто...

Походил вокруг виноградника и, когда стало скучно, протянул маме бумажку.

— Письмо от дяди. Я первый взял его. Дашь мне за это несколько, совсем мало, копеек для камеры?

Мама развернула бумажку и вскрикнула:

— О! — как будто порезала себе садовым ножом руку. — Анвар! Анвар! — Лестница закрипела под ней.

— Я здесь, дорогая. Что случилось? — Папа выбежал из комнаты в одних подштанниках, подхватил плачущую маму на руки.

Что случилось? Почему мама вдруг заплакала?

— Фархад, Фархад, о!

Папа разжал маме руку, взял бумажку, и глаза его побежали по буквам.

— Смертью храбрых, — услышал я. — Смертью...

Вдруг папа тоже весь сжался, стал маленьким и несчастным.

— Он умер? Фархад умер? — спрашивала мама.

— Смертью храбрых, — услышал я снова голос папы и только теперь понял, что с дядей, с моим дядей, случилось что-то ужасное, до того ужасное, что папа и мама уже не могут больше говорить и смотреть друг на друга, на меня, будто мы втроем убили его, моего дядю...

...Это значит, что мой дядя, — глаза которого, руки, лицо, всего его я вижу так отчетливо, будто он рядом, будто он стоит, как всегда, веселый, красивый, молодой и очень добрый, будто он берет меня на руки, подбрасывает на самый верх виноградника, хохочет, а я боюсь и плачу; будто мы ловим с ним рыбу, а рыба не ловится, а он сидит тихо-тихо, не шелохнувшись, а потом как засвистит, заулюлюкает, бросит прочь, к чертям, удочки, хватает меня и — в воду, и сам ныряет следом, и мы барахтаемся в воде, счастливые, веселые, такие родные; дядя, с которым мы выдумывали тысячу смешных историй, ужасных и страшных историй, про кошек с человечьими лицами, про деревья-змеи, пели песенку: «На веселых, на зеленых, на Азорских островах, по свидетельству ученых, ходят все на головах; говорят, что там живет трехголо-

вый кашалот, сам играет на гитаре, сам танцует, сам поет...»; он, этот дядя, мой родной дядя, больше не придет, не будет играть со мной, и петь, и танцевать, и смеяться, он ушел навсегда туда, в леса, и будет, как в той сказке, ходить невидимкой и стучать палкой по соснам и слушать, как по стволу идут с неба вниз звуки; он очень любил эту страну, Россию, мой дядя, вот он и ушел туда от всех — и от меня, и от мамы, и больше никогда-никогда, сколько бы я его ни звал: «Дядя Фархад, идем ко мне, дядя Фархад, идем ловить рыбу, прыгать и радоваться», — он никогда не вернется, никогда... Чем же я его обидел, что же мы сделали плохого, что он навсегда ушел от нас, мой дядя, мой любимый дядя?..

— Не надо, маленький, не плачь, — сказала мама, обняв меня, и слезы ее часто-часто закапали мне на голову.



Какой лютой ненавистью я возненавидел твоего отца, Марат, как я боялся его, ты представить себе не сможешь! Несколько ночей подряд он снился мне в обличье самых страшных зверей, какие только могут быть. Я проклинал его во сне, дрался, царапал ему лицо, бороду.

Бедный отец твой, таким, наверное, представляли его все, кому он приносил черные бумажки смерти. Теперь мне понятно, отчего он вскоре так жестоко и надолго заболел...

...Спустя три дня он снова просунул голову в наши ворота, я сидел один под виноградником и очищал кишмиш для плова — ведь сегодня были дядины поминки. Тихим чмоканием губ — тиц, тиц — отец твой позвал меня.

— Ну, чего же ты? Не бойся, это не смерть... На! — подал он мне снова бумажку, бумажку без конверта, не письмо.

И, пока я стоял, ничего не соображая, он, рассерженный и нервный, толкнул меня в дом и захлопнул за мной дверь.

Я не мог идти. Мне казалось, что он толкнул меня не в наш, а в чужой дом, где меня ждет что-то ужасное.

Отец подошел совсем неожиданно, неизвестно откуда.

— Чего ты испугался, мальчик?

Я протянул ему бумажку и убежал в сад за виноградник. Кругом было тихо-тихо, как ночью, и страшно.

Папа прочитал бумажку, резко дернул рукой, как будто его ужалила оса, засунул руку в карман и позвал меня:

— Магди! — И, когда я подошел к нему, шепотом сказал: — Ничего страшного, — и еще тише: — Это мне... повестка на фронт... Но маме пока ни слова.

— Да, папа.

— Умница.

— Да, папа.

— Ну, не надо, мальчик. Выше нос, до облаков, как Буратино, помнишь?

— Да, папа.

— Ладно, идем-ка вместе перебирать кишмиш.

Мы сели за стол, посередине поднос.

— Но ведь тебя не убьют, как дядю Фархада? Ты вернешься к нам из лесов?

— Не кричи так громко!.. Буду стараться, малыш...

— А убивать? Ты убьешь кого-нибудь, и он не сможет вернуться к своим из лесов. Убьешь?

— На войне обычно один из противников должен остаться в лесах, — сказал отец, и я ничего не понял.

Тогда я еще многого не понимал, Марат, и мне было простительно.

Третий день дядиных поминок я уже не мог вынести — дядя сам, наверное, перевернулся в гробу от диких воплей. У меня закружилась голова, и меня вынесли во двор на свежий воздух и уложили возле виноградника.

Какие же они дикие, бессмысленные и ханжеские, эти наши родные мусульманские обряды, Марат! Да что объяснять,

ты ведь и сам мог вполне узнать о них, когда умер твой отец. Помнишь толпу ревущих старух? И хоть бы одну слезинку выдавили из своих беззастенчивых глаз ради приличия! Нет, они просто режут час, два, целый день и следующий день, как марионетки, которых кто-то сзади тянет за резинку. А в перерывах жрут плов, аккуратно, со вкусом, облизывая жир с пальцев. И снова режут, поглядывая одним глазом на дверь, чтобы не прозевать очередное блюдо.

Я знаю, маме совершенно не нужно все это, весь этот обряд, все эти вопли и крики. Но ведь, когда, не дай бог, кто-то умирает в вашем доме, покойник уже не ваш. Он полностью попадает в руки старух. Не спрашивая вас, они штурмуют ваш дом и начинают реветь и пожирать все, что попадется им на глаза. Попробуй только косо посмотреть на них — ужас! Тебя будут проклинать весь век и называть неверным, а это самое худшее клеймо; так что лучше не надо.

...В самый разгар поминок приехал дедушка. Обессиленный, я дремал у виноградника, когда услышал его крик:

— Нора, дурная твоя голова! Что за рев ослиц?

— Тише, умоляю тебя. Ведь не могу же я их прогнать.

— А что Анвар? Что он спрятался, как трусливый страус? Не можете — я сам прогоню. Покойник неизвестно где, мы его в глаза не видели. Может, Фархад и не умер вовсе, а они крик подняли. Гнать!

— Умоляю, отец, не надо. Что потом будет?..

— Знаю, что будет. Прикрываясь святым именем бога, они здесь театр устроили. Не нужен богу весь этот спектакль, покойнику тем более. Ханжи и ослицы! — И дедушка вбежал в комнату, расталкивая старух. — Что же вы, уважаемые, так долго гостите у нас? Поели разок — и хватит! И где это в коране, на какой его странице, сказано, чтобы поминать умершего, не видя его самого? Вон! Долой с глаз! Хватит! И смотрите не захватите с собой чужие галоши...

Потом дедушка пришел ко мне, закрыл меня всего бородой

и поцеловал. От него приятно пахло дынями, клевером и кислым молоком.

— Боже, что сделали с моим мальчиком! На нем лица нет.
— Здравствуй, — сказал я как можно бодрее. — Как дела?

— А у тебя?

— Как видишь, лежу... Страшно смешной ты, милый де-душка. Такого смешного я нигде еще не встречал. Как они там? Без задних ног бежали?

— Вообще без ног, внучек. Перебросили ноги за шею и бежать. Ха-ха!

— Хо-хо!

— Хи-хи!

— Скажу тебе что-то на ухо: папу забирают на войну.

— Знаю. Он звонил мне в кишлак. Я сразу на ослика и сюда. Ничего, не расстраивайся. Вернется мужчиной.

— Как тебе не стыдно?

— А тебе не стыдно? У всех отцы воюют, только твой за маминной юбкой орехи щелкает.

— А если, если его...

— Если, если! Вставай, хватит лежать.

— Не кричи на меня, я больной. И вообще, ты злой человек, нехороший.

— Это ты ослиц имеешь в виду?

— Нет, вообще...

— Что, прикажешь бороду теперь рвать на себе? Если бы только его одного. В кишлаке у нас одни женщины остались, да и те одурели от слез. Каждый день две-три вдовы и десять-двадцать сирот. Война, братец мой, людоедство. Недаром в коране написано: «...и разделится род людской, и начнется между ними людоедство...»

Потом меня уложили в постель и приказали спать. Уснул я сразу, но ночью просыпался много раз, потный, ворочался

в постели и вздыхал, пугался теней и снова уходил в забытье. Не то во сне, не то наяву я слышал плач мамы, тихие голоса отца и бабушки и снова плач. И так всю ночь. И еще я никак не мог понять, во сне это или наяву видел все время черных птиц на деревьях, какие-то непонятные тени, зигзаги красных и синих пятен и светлые горящие точки между ними.

А утром я уже понял — все это было во сне, а плач мамы и голоса отца и бабушки наяву. Когда я проснулся, мама еще спала, и отец сказал, что она уснула лишь полчаса назад, а мужчины вообще не спали.

Я смотрел на мамино лицо и думал: каково теперь будет ей? Хотя мама скрывает, но я-то знаю, что она и дня не может прожить без папы. Папа для нее все. Он делает для нее то, чего не делает ни один мужчина для своей жены, по крайней мере на нашей улице. Он сердится, нервничает, когда она много стирает и устает, волнуется, когда она где-то задерживается. Бойтся, что она поскользнется и упадет, когда идет снег, что кто-нибудь обидит и обманет мою наивную, ничего не смыслящую в жизни и людях маму.

Им обоим нравится быть такими — маме парить где-то в облаках, оторванной от суеты и забот, а папе, наоборот, почувствовать себя сильным, волевым, очень земным, быть глазами и руками для мамы.

И я совсем не представляю, что же будет теперь с моей милой мамой. Бедная она, бедная...

Все случилось быстро и просто, будто отец собрался уезжать в обычную командировку. Пришли его друзья по работе, посидели, помолчали, выпили, а я бродил по двору, забытый всеми, и уже не помню, о чем я тогда думал. Помню только, что очень жалел маму и не знал, что теперь будет с нами. А потом все вышли во двор, и я очень испугался, когда увидел отца в старой одежде. Она делала его неуклюжим, похожим не то на монтера, не то на водопроводчика. На маму смотреть я боялся...

Отец поднял меня на руки и сказал:

— Ну, мальчик, нос до неба, как Буратино! Мы еще посмеемся, когда я вернусь, будь здоров!

Я старался улыбнуться отцу, но что-то сдавило мне щеки. Отец торопливо поцеловал меня в лоб, похлопал по плечу, сказал что-то, и все они вышли за ворота к машине.

Сели и уехали. Я побежал было за папой, но закашлялся от пыли и отстал.

Ну ладно, ладно, не надо распускать нюни, никому это не нужно, и, пожалуйста, выше нос, как Буратино, пора уже быть мужественным: как-никак семь лет, тем более что на твоём попечении осталась мама; ерунда, ничего не случилось, он вернется, и мы еще не так посмеемся, будем хохотать до коликов в животе, правда, обидно, что тебя не взяли на вокзал, но это не страшно, тем более что ты будешь отвечать за все, и за дом в том числе...

Я вернулся во двор, постоял на том самом месте, где только сейчас стоял отец и держал меня на руках. Что-то щелкнуло рядом — и из репродуктора на винограднике вырвался голос моего папы:

— Внимание! На зарядку становись! Руки на пояс, ноги на ширину плеч, начали — раз, два, три, молодец, мальчик, продолжай в том же духе...

— Папа! — закричал я. — Папа, это все шутка, ты не уехал, нет... Пусть, — сказал я сам себе, — пусть он уехал, но все равно каждое утро мы будем слышать с мамой его голос, и нам станет легче. Я буду делать все, что папа прикажет, буду бегать, прыгать, перегибаться. И буду помнить его и любить...



Два дня мама не могла ничего делать, была какая-то потерянная, невнимательная. Лицо ее изменилось, стало некрасивым, и все потому, что она забыла, что она женщина

и надо немножко следить за собой, укладывать волосы и мазать щеки кремом. Ничего этого она не делала, ходила в своем длинном черном платье и уже не меняла платья, как прежде, штук по десять на день.

Она брала папины вещи, долго рассматривала, принималась целовать их и плакать.

Мы совсем растерялись с дедушкой — не заболела ли наша мама?

— Ну скажи ей что-нибудь, — просил я дедушку, — ведь она твоя дочь.

Он пожимал плечами, что-то растерянно бормотал, затем шел к ней в комнату и буквально через минуту выходил обратно ко мне, еще более подавленный.

— Что прикажешь делать с твоей сумасшедшей матерью? Ни в какую. Ну-ка ты, ведь ты ее сын...

И тогда наставляла моя очередь.

— Мамоchка, не надо, прошу тебя... Я буду тебя слушаться и не обижать, вот увидишь.

Она как-то невесело улыбалась, прижимала меня к груди и начинала целовать.

Ночью, когда она наконец засыпала, я прятал отцовские вещи, его брюки, пижаму, шляпу, уносил их в сад, за виноградник.

Потом мама пошла к соседке, у которой собрались в тот день все женщины, чьи мужья и сыновья были на войне, хорошенько выплакала все свои слезы и, вернувшись, сказала:

— Завтра открывается еще один госпиталь. И я пойду туда работать.

— Правильно, дочка, — сказал дедушка, — умница. Поработаешь немного, развеешься, потом можно опять сына воспитывать. А он пока потерпит.

— Нет уж, милый отец! Хватит ходить наивненькой, чистенькой, красивенькой женой. Все думала, пусть бы Анвар

уехал куда-нибудь на несколько месяцев, чтобы самостоятельно пожить. Все самой делать. Думать самой, падать и вставать самой... Вот он и уехал...

Ох, этот дедушка, дедушка! Он минуты не может без того, чтобы не сцепиться с кем-нибудь — энергии у него уйма, девать просто некуда.

Сегодня пятница, и в мечети полно мусульман — день Большой молитвы. В этот день лучше сиди под одеялом, заткнув уши — перепонки лопнут от их воя.

Дедушке совсем плохо, он вообще не переносит ни малейшего шума, а тут тысячеголосый монотонный вой, как в книжке о собаке Баскервиллей.

Дедушка сперва бледнеет, кусает губы от злости, затем, не выдержав, выскакивает на улицу.

Когда дедушка на улице, соседям-мусульманам лучше не показывать своих носов. Он обязательно подденет их каким-нибудь каверзным вопросом насчет бога и, не слушая их объяснений, говорит и говорит дальше. Моим дедушкой — сумасшедшим острословом, неверным — ночью пугают детей, если они капризничают. Стоит сказать, сейчас позовем дедушку Магди и он съест вас, как все дети засыпают от страха.

Сейчас он, широко расставляя кривые ноги, направляется к мечети. Полы его халата, как два куска знамени, колышутся на ветру. Мне весело — будет спектакль!

Мечеть похожа на громадный каменный ящик фокусника, на который посадили сову, вернее, ее голову с десятью глазами — проемами. И внутри этого ящика — старики. Изгибаются как куклы: то встанут все разом, то разом падают на колени и начинают целовать землю, будто там рассыпан сахар. Вкусно! И командует всем этим совсем молодой ишан Калантар, сын того ишана, который умер, проглотив во время сна шмеля. И теперь ишан Калантар, если он злой, обзывает всех

неверующих шмелями и в знак пожизненного траура отказался брать в рот мед, думая, что мед дают людям не пчелы, а шмели.

— Шара-бара! — Дедушка хлопает в ладоши. — Старые вещи меняю на мыло, шара-бара!

Какой грех кричать «шара-бара», когда столько достопочтенных мусульман беседуют с самим богом! Вдруг старьевщик с грязным бельем и мылом. В мечети ропот: шу-шу.

— Шара-бара! — кричу я. — Старые галоши меняю на новые.

— Старые чалмы на новые!

Боже, какой ужас! Но ничего не поделаешь, надо прерывать молитву и просить бога подождать с беседой. Калантар первым бросается к выходу и, ползая на четвереньках, ищет среди тысяч галош свои, с шелковой кисточкой. Начинается свалка. Каждый старается, воспользовавшись суматохой, схватить галоши поновее.

А мы удираем. Пролезаем через дыру в заборе, сворачиваем в переулочек, а оттуда уже виден наш дом. На всякий случай, как и в прошлый наш налет, закрываем ворота на засов и хохочем.

А вечером дедушка возвращается к себе в кишлак — дела, дела, хлопок цветет, — а ты тут сиди и жди его до следующего спектакля.

Жаль, что ты так мало знал моего дедушку, Марат! Это был человек, полный противоречий и загадок. В нем была мудрость и наивность нашего достопочтенного муллы Насреддина.

«Бог живет внутри каждого, — говорил старик, — о боге надо говорить тихо или вообще не говорить, носить его с собой, в своем теле, как дух. Ишаны и муллы не могут вместить в себя этот дух, потому что зарабатывают на боге».

Вот поэтому-то соседи считали его сумасшедшим, неверным, смеялись над ним и боялись его. А Калантар даже пригрозил, что не разрешит хоронить дедушку на мусульманском кладбище.

...И, когда он умер, наш дедушка, его похоронили совсем отдельно, на краю поля, где цвел хлопок, там, где он любил прилечь и помечтать.

А совсем недавно, когда с отцом были в деревне, мы не нашли холмика дедушки. Его сровняли и посадили кусты граната. И каждую осень, когда зреют гранаты, они падают и бьют старика. И тогда он снится всем нам...

С утра мама ушла работать в госпиталь, а я остался один на весь дом. Сначала слонялся из комнаты в комнату, рылся, не знаю зачем, в папином столе, перелистал наш семейный альбом и увидел там дядю Фархада, почти на каждой странице дядя, дядя, дядя. Одна из фотографий мне особенно нравилась. Дядя сидит на стуле под виноградником, а я у него на коленях.

— Здравствуй, дядя... Тебе еще не скучно без нас?

— Здравствуй, мальчик... Давай споем с тобой нашу песенку.

— Мне что-то не хочется сегодня петь, не сердись.

— Ну, прошу тебя, мальчик.

— Хорошо... «На зеленых, на Азорских...» Скажи, дядя! Дядя! Папа уехал на войну...

— «На веселых», ты пропустил «на веселых». Давай снова: «на веселых, на веселых, на веселых»...

Я бросил альбом, выбежал во двор, залез на виноградник, в свой домик из веток и листьев, и спрятался ...И вот тут-то я впервые и увидел тебя, Марат...

С грязными, взъерошенными волосами, в отцовском пид-

жаке до голых колен и с громадной почтальонской сумкой за спиной ты просунулся в наши ворота и крикнул:

— Хозяева, письмо!

Сумку твоего отца я узнал сразу, перепугался и решил ждать, не высовываясь из убежища.

— Эй, вам письмо! — И действительно вынул из сумки письмо, не черную бумажку, а письмо в конверте.

Я спрыгнул вниз и, на всякий случай сжав кулаки, пошел к тебе.

— Давай!

Ты строго осведомился:

— Как фамилия?

— Не твое дело.

— Тогда ничего не получишь. Может быть, ты вовсе не Нуров, а Буров.

Это меня взбесило. Я хотел было броситься на тебя, бить и кусать за все — за твоего отца, за черные бумажки, за то, что ты такой остолоп, но силы были слишком неравны. Ты был на голову выше, шире в плечах и, видно по всему, дрался неплохо.

— А кто же я такой? Или лучше спроси у своего папаша, какая фамилия была написана на той бумажке, которую он принес нам недавно.

Лицо твое изменилось при этих словах, с него мигом сошла спесь, и по всему было видно, что тебе стало стыдно за отца — за то, что он принес нам такую весть о дяде Фархаде.

— Не сердись, — сказал ты, — получай. Это, наверное, от отца. У него, наверное, все хорошо.

— Ты уверен?

— Конечно! Даю голову на отсечение. Уж я-то знаю, раз он сам написал письмо, значит, он живой и даже не ранен. Хочешь, я прочитаю тебе?

— Прочитай... Нет, не надо.

Мама обидится, если мы распечатаем письмо без нее.

— Нет, — сказал я, — не думай, я и сам лучше тебя читаю.

Ты не уходил. Потоптался, подул на ладони, будто они замерзли, и вдруг сказал:

— Давай будем дружить, хочешь? Со мной тебе не будет скучно. Я знаю много историй о ведьмах и колдунах. И еще у меня бывают интересные марки.

Вид у тебя был такой жалкий, умоляющий, словно от нашей дружбы зависело многое.

— А что, тебе скучно одному?

— Да нет. Просто ты мне сразу чем-то понравился.

Я подумал: интересно быть другом почтальона. Он будет мне самому первому приносить письма папы, рассказывать, где что делается. Но тут я испугался: что, если он принесет черную бумажку о папе, что тогда, Марат? Как мне на тебя смотреть? Мне ведь и убивать тебя жалко будет, потому что ты мой друг. Что мне делать тогда?

Ты догадался:

— Боишься, что я?..

— Нет, не боюсь. Этого не будет, правда?

— Из-за этого никто и не хочет дружить со мной...

А старые друзья стали мне врагами, потому что... потому что я приносил им такие бумажки... Но ведь я же не виноват! При чем здесь я, если взрослые убивают друг друга? При чем здесь мы?

— Нет, — сказал я, — я не боюсь. И мы будем дружить с тобой. Что бы ни случилось, мы останемся друзьями.

Вот так и началась наша дружба, Марат...

Мамы не было весь день до самого вечера. Я слонялся голодный по дому, до тошноты ел виноград и несколько раз натался по полу от колик в животе. Вот во что обошелся мне первый день маминной самостоятельности.

Я нервничал — мама меня совсем забыла, сама, наверное, ест в госпитале вкусный суп и котлеты, а у меня от кислого винограда вздулся живот и вот-вот лопнет от обиды.

Много раз мне хотелось сходить к соседям, чтобы они прочли мне папино письмо, а потом я бы его порвал и выбросил, не показывая маме. Ведь папа, наверное, догадывается, что мама морит меня голодом, и поэтому не обидится. И вообще, он написал мне, а не маме. Если бы ей нужно было его письмо, она давно почувствовала бы, что оно пришло, и прибежала бы.

Я взял и заснул ей назло. Вначале спал и одним ухом прислушивался, не идет ли она, но быстрых маминых тук-так-тук-так все не было, а затем я уже перестал слушать.

Снился мне папа. Я увидел его лицо. Большое-ребольшое, как в кино. Просто лицо, и все. Папа ничего не говорил, а только смотрел на меня. Папа молчит — молчу и я.

— Что с тобой, мальчик? — услышал я голос мамы. — Чего испугался, весь дрожишь?

Я открыл глаза: мама пришла!

— Нет, я не дрожу. Папа ничего плохого не делал.

— Тебе снился папа? Ты кричал, как будто тебя бьют.

— Нет, никто меня не бил.

Странно: почему же я кричал во сне?

— Ты давно пришла?

— Успела только раздеться... Ой, как страшно! Не знаю, что делать. Я ведь все почти забыла...

— Ты хочешь есть, мама?

— Очень! Сидела в библиотеке, пока не закрыли. Прочла уйму книг, но все равно боюсь... Сейчас я нарву винограда, и мы поедем.

О! Я чуть не закричал, когда услышал о винограде. Но ведь и мама тоже ничего не ела, ее можно простить.

Наверное, я кричал во сне потому, что жаловался папе на свою голодную жизнь. Дурачок я, дурачок.

Мама съела полную тарелку винограда, а я одну ягоду, да и то меня чуть не стошнило.

— Вот письмо, — сказал я, — от папы.

— От папы? Чего же ты молчал? — Мама начала вертеть конверт. Потом немного успокоилась, распечатала накопец и стала читать.

— «Милая Нора, милые мои...» Ну, и так далее...

— Нора — это ты, понятно, — прерываю я маму, — а кто такие «и так далее»?

— Ну, это ты и дедушка.

— А!

«Пишу вам со станции Казалинск, где наш поезд стоит полчаса. Завтра утром мы будем уже в России, на той земле, которую мы будем защищать. Со мной едут такие же простые смертные, которые на время, а может быть, уже навсегда, оставили свои дома и меньше всего думали, что им придется когда-нибудь убивать, но что поделаешь — война!

Как все пришло неожиданно! И пройдет еще много времени, пока они привыкнут к своей новой профессии. А многие, может быть, так и уйдут, не привыкнув. Это те люди, которые всю жизнь выращивали хлопок и виноград и не слышали ни одного выстрела. А теперь едут выполнять самое трудное на земле дело...»

Дальше раз сто «милая Нора», «люблю», «целую», наставления, как жить, как есть, как ходить по улице, — на целых три года.

— Какой милый чудак наш папа, — сказала мама. — Как он неуклюже пишет о любви. Совсем не умеет писать.

IV

Я понимаю — для мамы сегодня необычный день.

Через много лет я так же волновался, когда шел на свой первый в жизни урок. Ты, должно быть, помнишь, Марат?

Помнишь, после окончания института нас направили учительствовать в одну школу. Преподавать язык и литературу. Помнишь, в мой самый первый урок ты был свободен и, чтобы я не умер от волнения, решил сидеть в моем классе. Ты подбадривающе мигал мне с последней парты, а я стоял перед учениками и несколько минут не мог ничего произнести, хотя прекрасно знал, о чем надо говорить. Ученики стали посмеиваться, и от этого я еще больше струсил. Я уже собрался махнуть на все рукой и выбежать из класса, как вдруг поднялся ты, Марат, и сказал:

— Ребята, не волнуйтесь. Магди Анварович в спешке прихватил мои конспекты. И не может разобраться в моем ужасном почерке!

Ученики рассмеялись, я облегченно вздохнул и сказал свое первое в жизни учительское слово: «А ну-ка, доставайте тетради», — и все пошло нормально с этой минуты.

Вот так и у мамы.

«Но все будет хорошо, мама. Раненые любят тебя, я знаю, только не надо бояться», — думал я, сидя на самом верху виноградника. Раз в неделю я забираюсь сюда, чтобы посмотреть бесплатное кино. Наша улица — большой экран, а артистов хоть отбавляй. Спрячьтесь где-нибудь и наблюдайте, только чтобы вас не заметили. И вы увидите интереснейшие вещи.

Вот, например, каждое утро из ворот напротив выходит старикашка Сираж-бобо. Выходит, закидывает голову вверх и пристально смотрит в небо, будто увидел там летающего осла. Смотрит и все время безо всякой надобности подтягивает брюки.

Брюки он начал носить недавно, когда поступил сторожем на макаронную фабрику, и еще к ним не привык. Раньше, пока сын его не был на войне, старик нигде не работал и ходил в белых штанах. В них прохладно и удобно сидеть в чайхане.

И ходить в мечеть. Ведь повись в мечети в брюках — осмеют.

Стоит Сираж-бобо, смотрит в небо десять минут, полчаса, пока шея не задеревенеет, затем выдернет из ватника под мышкой комочек ваты, выдует из него сор и одним выдохом выстрелит в небо. И радостный следит за полетом ваты, подпрыгивает, машет руками. И так до тех пор, пока вата благополучно не застревает на дереве между листьями.

Отец объяснял, что у него такой возраст, когда хочется повторять все, что делал в детстве. Представляю, какой ужас будет со мной в его возрасте! С утра до ночи, как дурак, буду сидеть на винограднике и следить, кто куда пошел и зачем. Меня так и будут звать соседи: старый дурак на винограднике. Незавидная участь!

Или вот другое кино. Тоже соседи — дед и бабка. Они так похожи друг на друга, что до прошлого года я считал их близнецами. Но отец сказал, это муж и жена, и я долго не верил, как такие старые могут быть мужем и женой. Мне казалось, что муж и жена обязательно должны быть молодыми и писать, как супруги Буттенгот или Готтенгот, точно не помню, сказки о своей любви.

Деда зовут Мекка, а бабу Медина. И вот они появляются на улице, поворачиваются ко мне спиной и начинают глядеть на свои ворота и вздыхать, и плакать, и ворчать друг на друга. Боже, как постарели, потрескались их ворота, любимые ворота, молчаливые свидетели их молодости! Какая мерзкая штука эта жизнь, что не пожалела даже ворот — гордость рода, предмет зависти соседей и дальних родственников.

Ворота у них действительно великолепные, массивные и угрюмые, из самого крепкого дерева на свете — карагача, разрисованные, как ковер, узорами и ромбиками. Из рода в род передаются они по наследству, кочуют из города в город.

Мекка и Медина оказались на редкость плохими хозяевами. На их глазах ворота стали катастрофически сохнуть и трес-

каться, и, чтобы предотвратить дальнейшую гибель, каждое утро дед и бабушка чистят их керосином. Трут, ругаются, плачут, но все напрасно. На следующий день на воротах появляется новая трещина — жизнь, жизнь, ничего не поделаешь! Только одно немного волнует меня в этом кино: кому же после их смерти достанутся ворота, ведь наследников у стариков не осталось?!

У меня в запасе еще много картин, но обо всех рассказывать сразу не стоит — скучно будет. Тем более что внизу по улице идешь ты, Марат. Вид у тебя, дружище, очень печальный.

Встряхнись же наконец, выше нос, как Буратино! Но ты, оказывается, и не знаешь, кто это такой. В детстве у тебя были одни только выдуманные тобой и твоим дедом истории о ведьмах и колдунах и ни одной приличной сказки. А как нужны нам, дружище, сказки, чистые и светлые сказки — нам, семилетним и тридцатилетним, особенно тридцатилетним. Потому что без них, как говорил поэт, «нет житья... ни людям, ни зверям».

— Эй, Марат!

Только сейчас я заметил, что на тебе порвана рубашка.

— Дрался?

— Надоело все, Магди! Не могу больше. Каждый день черные бумажки — смерть, смерть, смерть... И будто я виноват.

Морщась, ты снял рубашку, и я ахнул — вся спина была в синяках.

— Кто тебя? Скажи, мы отомстим.

— Глупый. Я принес одному старику черную бумажку, а он начал бить меня палкой... А я стоял и не мог убежать.

— Так тебя убьют когда-нибудь.

Мы помолчали, и я сказал:

— Знаешь, что сейчас я... Слушай, отец мой дома, по-

нимаешь? Он совсем не на войне. Все думают, что он воюет, а он прячется дома.

— Поклянись!

— Серьезно. Идем. — И я заставил тебя сесть на кровать, потом в комнате раздался голос папы.

— Внимание! На зарядку становись! Руки на пояс, мальчик...

Ты был растерян, а я хохотал:

— Это мой отец, честное слово. Теперь ты веришь, веришь?

Но ты сразу понял, что к чему, и сказал:

— Кто это придумал?

Я-то знал, в комнате пластинка, где записан голос отца, и, как только встаешь с кровати, пластинка включается и начинает передавать приказы в репродуктор на винограднике, но я не мог объяснить тебе, понимаешь, не мог, потому что я не хотел верить, что это обыкновенная пластинка, а не живой, настоящий голос папы, который потом много-много дней поддерживал меня, и мне даже стало обидно и больно, что я показал тебе, раскрыл тайну своей сказки...

Ты, видимо, понял мое состояние, сказал:

— А я... я сразу поверил, что это твой отец. Я даже знаю, что, если ты спросишь у него что-нибудь, он ответит. Спроси-ка...



Я подумал, как будет приятно маме, если мы с Маратом придем за ней в госпиталь — уж очень она волновалась в первый день работы и сразу бы поняла, что и мы волнуемся вместе с ней.

Марат знал, где находится госпиталь, и мы пошли. Мне запрещали уходить далеко от дома — в улочках нашего города не мудрено заблудиться. И в тот день я впервые нарушил этот запрет.

Какой интересный мир открылся мне! Мы шли друг за другом, потому что только так можно было пройти по узким улицам. На каждом шагу мечеть — поднимаешь голову, а там голубая шапка с гнездами аистов, и от этих шапок и дома, и деревья, и люди — все кажется голубым, хотя на самом деле улицы угрюмые, безглазые, и никто не высунет голову и не скажет «здравствуйте!».

И вдруг, как что-то совсем чужое, возникло перед нами каменное здание с множеством глаз — в этом единственном тогда здании европейского типа через много лет я учился в институте, набираясь ума-разума.

— Что же ты остановился? — Марат толкнул меня к этому зданию, и я посмотрел из окна в надежде увидеть живых, настоящих раненых, людей оттуда, с войны.

— Туда нельзя, — остановила нас у входа женщина с красной повязкой.

— К маме, — сказал я, — она работает здесь.

— К маме тоже нельзя. Она занята.

— У них дом горит, тетя.

— А не врешь? — женщина схватила Марата за руку.

— Обманывает, — поспешил я признаться, зная, что мама упадет в обморок, если ей скажут: у вас пожар!

— Ах, врет! — Женщина принялась поучать бедного Марата, что-то говорить про взрослых, которые на войне, и про детей, которые занимаются враньем... Хорошо, что сзади нас протяжно загудела машина, и мы отскочили в сторону.

— Раненые, — шепнул Марат.

Из машины с большим красным крестом санитары начали вытаскивать носилки — одни, другие, третьи, седьмые... Я смотрел на них и ничего не видел, кроме ног, высохших, синих. Тебя, слава богу, не было среди них, отец, все чужое, незнакомое. А их несли, несли на носилках, с запахами крови, с запахами войны — мимо нас.

— Все, — сказала женщина с повязкой, — этого пока положите под деревом. Мест нет...

— Да вы что? Он очень плох. Он без сознания.

— Говорю вам узбекским языком — мест нет.

Его положили под деревом, восьмого, бедного, которому не хватило места, и мы медленно подошли к носилкам. Ветер откинул край простыни, и я увидел, отец, совсем худое, совсем безжизненное, страдальческое лицо человека, который чем-то был похож на тебя — такой же высокий и худой, но с широкими плечами, которые еле вмещались на носилках.

Он лежал, и губы его дрожали. Наверное, он никак не мог отогнать от себя картины войны: бегут, падают и умирают солдаты, раскалываются пополам деревья и небо.

Вдруг я подумал, что он должен обязательно знать тебя, отец. И дядю Фархада. Солдат этот шел с вами по лесу, по темному, запутанному лесу, и дядю убили, а его ранили, а ты бросился к нему, чтобы спасти. А тут еще снаряд. И что стало с тобой, отец?..

— Дядя, дядя! — стал звать его я, стал будить, чтобы он смог отогнать от себя прочь картины войны и сказать, что стало с тобой...

— Мальчик! Оставь в покое раненого. Иди домой. Мама твоя очень занята...

И мы ушли. Шли и молчали. Совсем забыли, что нас двое, не разговаривали, не смотрели друг на друга.

Долго, очень долго я сидел, ни о чем не думая, словно меня нет, улетучился. Потом начал ходить из комнаты в комнату, по двору и думать.

Наверное, он все еще лежит под деревом и смотрит картины войны, и ему больно и нехорошо. А жена его и дети ждут письма и совсем не подозревают, что он лежит сейчас под деревом, не знают и не могут прийти к нему, чтобы помочь.

И я побежал на кухню, стал резать, резать хлеб, мазать маслом. Завернул все это в газету. Решил отнести ему, чтобы он обрадовался. И ему станет хорошо-хорошо.

Но вот и мама. Я спрятал сверток и вышел ей навстречу.

— Поздравляю тебя, мама.

— С чем? Письмо от папы?.. Да, да, день прошел удачно. Но как я устала, ты даже представить не можешь! Зато восемь операций — восемь!

— Это мало или много?

— Это ужасно много для мирного времени, мальчик. Но сейчас... Один из врачей сделал двенадцать, и все удачные.

— У тебя сколько удачных?

— Будем надеяться, что все. Но одна была такая жуткая, как я волновалась!.. А зачем ты приходил в госпиталь, малыш?

— Просто мне хотелось поглядеть на тебя. Нельзя?

— Нельзя, маленький. Ты понял меня?

И, хотя я не понял, сказал:

— Да.

— Завтра у нас будет гость.

— Кто, мама?

— В госпитале очень тесно. Мы, врачи, решили взять к себе домой раненых.

— А зачем?

— Там им тесно.

— У нас в доме будет лежать раненый?

— Да, мальчик. И ты будешь помогать мне.

— Буду, мама. А ты уже выбрала кого? Ты знаешь его?

А ему у нас понравится?

— Я еще не выбрала. Не знаю, понравится или нет.

Но мы должны его вылечить.

— Я сделаю все, чтобы он вылезился. Ладно, мама?

— Хорошо, хорошо. Давай ужинать.

— Мама, давай возьмем его. Он лежит один под деревом. Ему не хватило места. Тебе ведь все равно. Я знаю, он будет хороший и послушный и не станет капризничать.

— Ладно, маленький. Мы пойдем вместе, и ты покажешь его.

— Он такой хороший! Такой славный! Мама! Мама! Знаешь, что я придумал? Сказать? Давай пойдем и возьмем его сейчас. Я прошу тебя...

И мы пошли в госпиталь. Он страшно удивится, когда узнает, что мы забираем его к себе. А вдруг он не захочет? Тогда я скажу маме, пусть она сделает ему укол, усыпит, и мы понесем его, а утром, когда он проснется, скажем, что мы не виноваты, так получилось. А потом ему у нас понравится и он согласится.

— Подожди здесь. Я узнаю сама, кто лежал сегодня под деревом, и заберу его.

Только бы мама не перепутала!

Мы угостим его хлебом, и маслом, и виноградом. А потом что будем с ним делать? Как лечить? Мама скажет как. А кто он — капитан, генерал, танкист, летчик? Хорошо, если он летчик, — я люблю летчиков. Есть ли у него ордена? Наверное, есть. Если бы он был трусом, он бы прятался и его бы не ранили. Что-то долго их нет. Неужели мама перепутала? Здорово же мы придумали взять к себе раненого, веселая пойдет жизнь! Ну и ладно, пусть я не пойду теперь в школу, надо ухаживать за раненым, не жалко. Жалко, конечно. Но раненый гораздо интереснее, чем школа.

— Мама!

Я бросился к носилкам. Взглянул — он!

— Он, мама!

Я бегал вокруг носилок, не зная, что же делать дальше. Но все решилось просто. Подъехала машина с большим

красным крестом, открылась дверца сзади, носилки всунули туда, мама крикнула: «Садись в кабину, Магди!», — и мы поехали, повезли нашего раненого, повезли к себе лечить его. Теперь он наш, и мы никому не дадим его в обиду. Все решилось просто и хорошо, а я боялся, нервничал.

Шофер был угрюмый дядька, молча крутил баранку, мне же хотелось петь, смеяться, прыгать, а он был такой важный и гордый, будто делает великое дело — крутит баранку и молчит. Я смотрел назад в белое окошечко, но ничего не мог увидеть. Мама там, все хорошо, и не надо волноваться.

А ехали мы очень медленно, как назло. Въезжали в какие-то узкие улочки, поворачивали обратно, царапали стены, на нас кричали, проклинали нас, а мы везли домой раненого: лечить его и возвращать к жизни.

И когда машина еле-еле проехала к нашему дому, выбежали все соседи. А я очень гордый выскочил из кабины, помог шоферу открыть заднюю дверцу. Люди придвинулись к нам, окружили, а мы, не обращая ни на кого внимания, торжественно понесли носилки к воротам.

— Боюсь сказать, милая Нора, неужто отец Магди? — спросила Медина.

— Нет, — ответила мама.

— Кто это, Нора?

— Раненый из госпиталя.

Мы внесли нашего раненого в комнату и уложили его. И, когда вышли попрощаться с шофером, соседи уже обсуждали это событие.

— А отец Магди? Если он узнает, что в доме чужой мужчина...

— Пусть это вас не волнует, — ответила мама и побежала обратно в комнату к раненому, сказав мне: — Не заходи пока...

Что это им не понравилось, соседям? Ладно, сейчас некогда об этом думать. У нас гость, у нас раненый в доме.

Добро пожаловать в наш дом, незнакомый дядя! Поверь, тебе здесь будет неплохо, ты быстро поправишься и сможешь снова идти на войну. Только смотри потом в оба, как бы тебя опять не ранили и не убили. Я буду плакать, если тебя убьют, плакать будет и мама, и все, все, кто знал тебя, тоже будут плакать. Будет плакать и колыбель, где ты рос в детстве, мячик, которым ты играл, подбрасывал его в небо к облакам, и книжки твои будут плакать, твои сказки, и твои самые первые туфли, которые ты надел, когда научился ходить, и речка, где ты купался, и яблоня, на которую залезал, и окно твое, и паук на окне тоже заплачет, будет плакать твоя мама, она поседеет и состарится...

Прошу тебя, возвращайся с войны живым и невредимым.

А пока ты наш гость, мы с мамой сделаем все, чтобы ты в один прекрасный день мог встать, улыбнуться и сказать — все в порядке. По утрам, когда мама уйдет на работу, я буду поить тебя молоком. И, хотя это очень неприятная штука — пить молоко, но пить его надо, потому что без молока ты быстро не поправишься. И еще я буду давать тебе лекарства. Ладно, так уж и быть, самые горькие ты сможешь незаметно выбросить под кровать, но остальные надо принимать обязательно.

Хочешь, я буду рассказывать тебе интересные истории, которые мы сочинили вместе с дядей Фархадом? И когда ты уже сможешь разговаривать, когда у тебя ничего не будет болеть, посмотрим, сможешь ли ты сочинить какую-нибудь историю. Я люблю людей, которые фантазируют и сочиняют истории.

Мама тебе понравится. Ты не бойся, если она иногда будет строга. На самом деле она добрая, и, уж раз ты попал в ее руки, она тебя вылечит.

Я расскажу тебе о папе. А когда он вернется с войны, вы будете дружить с ним, играть в шахматы. У папы мало хороших друзей, и он согласится дружить с тобой, не волнуйся.

Дедушка тебе вначале может не понравиться, он покажется тебе злым-презлым. На самом деле он любит пошутить, но ни в коем случае не ругай при нем деревню — тогда все, вы враги навеки.

Потом я познакомлю тебя с моим другом Маратом. Он будет приносить тебе письма твоих родных, и, если кто-нибудь обидит тебя, будь уверен, он заступится.

Если тебе понравится у нас, понравится наш город, ты можешь приехать сюда после войны. Ты будешь приходить к нам в гости, и мы будем сидеть и вспоминать: «А помнишь, когда?..» — «Конечно, помню...» — «А ты не забыл, как?..»

Все это я думал, дядя Эркин, в тот вечер, когда тебя привезли к нам в дом. Мама сказала, что будет делать тебе уколы, и запретила мне заходить в комнату, а ты лежал без сознания.

Мне надоело слоняться по двору, я подкрался к окну, встал на камень и чуть было не свалился, когда увидел маму, растерянную, плачущую. Она бегала по комнате со шприцем в руке, выбрасывала из тумбочки вату, бинты, флаконы с лекарствами, что-то говорила не то тебе, не то себе.

Я застучал по стеклу:

— Мама, можно я помогу?

Но она замахала руками и еще больше растерялась, забегала.

Видно, тебе было совсем плохо — машина укачала тебя, когда везла из госпиталя, и мама не знала, что делать.

Я хотел бежать на улицу, звать людей на помощь, но вместо этого ушел за виноградник и забился там в угол от страха.

И снова видел маму, куски ваты на полу, руки мамы на твоей спине и твою спину. Я зажмурился — так было страшно. Что они сделали с твоей спиной, дядя Эркин? О, эти изверги

фашисты! Взяли твою гладкую, сильную спину и изуродовали ее.

Потерпи немного, мама поможет тебе, она сделает тебе хорошо. Немножко, чуть-чуть потерпи.

И мы еще посмеемся, вспоминая обо всем этом. Будем бить кулаком по твоей спине, по тому месту, где была рана, и ничего, ни капельки тебе не будет больно.

— Все!

Мама села на крыльцо и закрыла лицо руками. Я подошел к ней и осторожно дотронулся до ее плеча. Она улыбнулась сквозь слезы, сказала:

— Знаешь, мальчик, сегодня я выросла в своих глазах вот на столько, — и показала на сколько. — Как чудесно!

И, хотя я не понимал, что здесь чудесного, когда дядя Эркин так намучился, я поддержал ее:

— Не до крыши — до неба, мама, ты выросла.

Она притянула меня к себе и начала целовать и смеяться, и мы с ней стали прыгать, как сумасшедшие, и мама все повторяла:

— Чудесно, мальчик, как хорошо!

Не успел я досмотреть коротенький сон о разных цветных шариках, которые лопались, едва взлетая к небу, как мама разбудила меня — ей пора на работу.

Раньше бы я капризничал, и мама бы целый час щекотала меня, чтобы окончательно разбудить, но сейчас я вскочил.

— Как дядя Эркин?

— Спит еще...

Голос у мамы был тихий и усталый, и вся она была измученная, как после болезни, похудевшая. Куда исчезла моя прежняя мама, веселая хохотунья. Встанет, бывало, рано-рано, тормошит папу, кричит:

— Посмотри хоть раз, как встает солнце, красота!

И бросается к окну встречать новый день, приветствовать солнце, капли росы на винограднике.

Где она, эта моя мама? За ночь она будто постарела. Еще бы, не спать, нервничать, все время сидеть возле дяди Эркина, поить его лекарствами и ходить по комнате и думать.

Только изредка она приходила ко мне, ложилась, не раздеваясь, на край кровати и лежала, и смотрела на тени на окне, на потолке.

— Слушай внимательно, Магди, — сказала мама, — теперь ты должен быть взрослым и помогать мне во всем.

— Да, мама.

— Как только дядя проснется, заставишь его принять лекарство в красной бумажке, а когда часы пробьют двенадцать раз — таблетки в белой бумажке. И будешь поить его молоком. А в полдень я прибегу, чтобы сделать ему укол... От тебя, малыш, зависит многое. И я верю тебе, понял?

— Да, мама. А что я должен делать сейчас?

— Ждать, пока он проснется. И дашь ему лекарство в красной бумажке... Будь умницей...

Мама ушла, а я постоял немного у двери дяди Эркина и начал ругать себя за то, что я трус и белоручка, и что я не могу открыть дверь, зайти в комнату и сесть на стул рядом с дядей Эркином и ждать, пока он проснется, и что не могу сочинить смешную историю, чтобы потом рассказать ее дяде Эркину, когда он откроет глаза.

Жил-был дядя, нет, мальчик. Этот дядя, то есть мальчик, был маленьким, а дядя большой, в два раза больше мальчика. И у него была жена и курица Ряба. И мальчик сказал жене: скажи, чтобы он поймал курицу. Курица была не простая — золотая, и мальчик гонялся за ней и наконец поймал...

Нет, жил-был Буратино. У него был дядя. Дядя был похож на Карабаса-Барабаса. У дяди была курица Ряба. Они жили на веселых, на зеленых, на Азорских островах, где, по свидетельству ученых, ходят все на головах, там жил Кашалот с тре-

мя головами, он сам сочинял, сам исполнял и сам себе аплодировал. А курица Ряба сказала мальчику: съешь мое яйцо, не простое, а золотое. А дядя...

Он проснулся, открыл глаза, и я чуть не залез под кровать от страха. Он глядел на меня и не видел, что это я, смотрел сквозь меня — такой у него был взгляд, и у меня от его взгляда заболело все внутри.

— Здравствуйте, — сказал я. — Не бойтесь, я Магди.

А он не только не боялся, но и продолжал не видеть меня, гордый очень. Лицо его теперь было немного похоже на человеческое, и можно было разобрать, где глаза и где губы, а то все было одного цвета.

— Хорошо, — сказал я. — Не думайте, что это я хочу дать вам лекарство, мама приказала.

Ему было все равно, пить лекарство или нет. Но почему он так смотрит? Почему молчит? Может быть, ему очень плохо? И как его поить лекарством, если он ничего не понимает и не хочет открывать рот?

— Здравствуйте, — сказал я. — Здравствуйте!

И вдруг он посмотрел на меня и увидел. Он увидел меня и понял, что я сижу перед ним, и, кажется, чуть-чуть улыбнулся.

Он улыбался мне, я — ему, и мы смотрели друг на друга и улыбались. Я совсем не боялся его — удивительно, даже подмигнул ему и сказал:

— Это я, Магди. А я вас знаю. Вас зовут дядя Эркин. Вас ранили на войне, а потом мы взяли вас. В госпитале не было места. И мы вас взяли. Вам там негде было лежать и выздоравливать... Здравствуйте...

Он смотрел на меня и улыбался для приличия. И отвечал мне только тем, что чуть-чуть шевелил губами.

— Ладно, — сказал я строго, — давайте принимать лекарство. А то мы с вами заболтались тут.

И, как только он приоткрыл рот, шевеля губами, я бросил ему на язык таблетку.

— Глотайте, глотайте. Оно маленькое.

Он поворочал во рту белым, совершенно белым языком, и таблетка выкатилась на подушку.

— Не плюйте, пожалуйста, — сказал я, — если не хотите иметь неприятности с моей мамой.

Я снова бросил ему в рот таблетку.

— Вы глотайте. А я вам спую. Чтобы не было горько... На веселых, на зеленых, на Азорских островах, по свидетельству ученых, ходят все на головах — тах-тах-тах!

И, пока он слушал меня, раскрыв рот, таблетка растаяла у него на языке и потекла внутрь — туда, куда положено.

— Вот и все, — сказал я. — И, если вы всегда будете послушным, мы подружмся с вами...

И тут часы пробили двенадцать раз — надо снова впихивать таблетку. Ох как тяжело!

А потом прибежала мама. И прогнала меня, и начала осматривать дядю Эркина, и проверять, все ли таблетки я впихнул в него, а затем вышла во двор с ведром, полным красной жуткой ваты и бинтов и разных ампул, и, грустная, молчаливая, отнесла все это в мусорный ящик.

— Как он вел себя? — спросила она.

— Он меня слушался во всем! И не отказывался от лекарства. Мама, он там стонет!

— Слышу. Сейчас перестанет.

Дядя стонал очень жалобно, как маленькая собачонка, которую бросили одну. Мама пошла к нему. Дядя Эркин вскоре затих, и мне было интересно посмотреть, как же мама делает ему легко, но она меня не впускала к нему.

А когда мама снова ушла в госпиталь, я зашел к дяде и увидел, что он спит. Заснул дядя... Спал он как-то сердито,

будто все время видел один и тот же сон про войну, про то, как в него стреляли и хотели убить и как он падает и уже не помнит ничего, ничего не видит и не слышит — потерялся.

И тут пришел ты, Марат.

— Я слышал, что у вас раненый?

— Откуда? Кто тебе сказал?

— Соседка ваша. Это правда?

— А как она сказала?

— Да никак!

— Скажи. Я же вижу по твоим глазам...

— Я отругал ее, не волнуйся. Мерзавка сказала: не успел уехать отец Магди, как мать его привела к себе другого мужчину.

— А что здесь плохого?

— Ничего плохого... Можно посмотреть на него? — спросил ты.

— Только краешком глаза, хорошо? Он спит.

Ты, чего-то боясь, просунул голову в дверь, увидел его, поглядел, поглядел и шепнул:

— Он кто, сержант?

Я не знал, сержант лучше, чем простой солдат, или нет, но на всякий случай сказал:

— Кажется, он генерал. Молоко не пьет, лекарства не принимает, капризничает.

Когда мы вышли во двор, ты спросил:

— Наверное, теперь ты не будешь дружить со мной?

— Что ты! Я буду дружить и с генералом и с тобой.

— Ты ведь знаешь меня раньше, чем генерала, на целых десять дней.

— Конечно. Притом с генералом надо много возиться. И не знаю, можно ли дружить с ним по-настоящему. И говорить ему правду в глаза... Если бы ты знал, как я сегодня спасал генерала! У него были припадки, он кричал и бил посуду, а я ему дал такое лекарство, что он сразу пришел в себя

и целый час благодарил меня. И сказал, что даст мне орден, когда выздоровеет...

— Магди, — прервал ты меня, — можешь помочь мне?

— Могу, — сказал я растерянно.

— Вот видишь, — и ты вынул из сумки бумажки, много черных, жутких, противных бумажек. — Видишь, их сколько?.. Одну из них нужно отнести Лейле-апе, а я не могу. Она мне как мать. Делает мне все. Это о Хакиме, о дяде Хакиме, ее сыне.

— Его убили?

— Да.

— Я попробую. Сделаю, Марат... Только сейчас жарко на улице...

— Сейчас, Магди. Я не могу носить с собой его черную бумажку. Сейчас, пока генерал спит.

— Ладно, — сказал я, — как хочешь... Только ты смотри, чтобы генерал не проснулся.

И я пошел. Сжимая в руке черную бумажку дяди Хакима, сильного и большого дяди Хакима, который ушел и вернулся домой, став черной, злой бумажкой. И Лейла-апа будет плакать и рыдать, ей будет очень и очень плохо, и она будет звать сына, дядю Хакима, просить, чтобы он вернулся — оттуда, из лесов, и будет думать, что это она, мать, так обидела своего сына, что он ушел от нее навсегда... Нет, нет, это шутка, все это злая шутка, не может быть, чтобы дядя Хаким не вернулся к своей маме, ведь он так любил ее!

С минуту я постоял у ворот ее дома, потом открыл их, сделал шаг, второй, прошел по темному коридору и, увидев во дворе, под виноградником, Лейлу-апу, покраснел, будто без спросу залез в чужой дом.

— Чего тебе, Магди? — спросила она.

— Я...

— Ничего не слышу. Сейчас я достану вот эту большую

кисть и слезу к тебе... Это я Хакиму, сыну... Он пишет, что скучает по винограду, мой мальчик...

Да, да, я так и думал! Дядя Хаким жив. Мать собирает для него виноград. Сын ее обрадуется, он так соскучился по винограду...

— Мой Хаким так любит виноград, — сказала мать, — в детстве, когда он был таким, как ты, Магди, он целыми днями сидел в винограднике и ел, ел, а я, дурная, кричала, гнала его, боялась, что живот его лопнет...

Да, конечно, он сидел в винограднике и сейчас сидит и вспоминает и ждет виноград матери... Нет, он жив, дядя Хаким!

— Марат! — закричал я. — Он жив, это ложь. Я сам видел. Мать собирает для него виноград!

— О чем ты говоришь, Магди?

— На! На! На! — разорвал я черную бумажку, бросил и начал топтать ногами и кричать: — Он жив, дядя Хаким! Не смей! Не смей!

Три ночи подряд мама не выходила из комнаты раненого, три ночи подряд за стеной были слышны ее тревожные шаги и стоны дяди Эркина. Часто дом замирал совсем, не шелестели даже листья виноградника — дядя терял сознание. Три дня и три ночи подряд мама выносила из комнаты раненого полное ведро жуткой ваты и бинтов.

Ни о чем другом мы не говорили, кроме как о раненом. Ложились спать и просыпались с мыслями о нем. Как ему? Что с ним? И только по глазам мамы я видел, как плохо дяде Эркину и как трудно ей. Утром чуть свет она бежит в госпиталь, в полдень опять домой — перевязка, уколы, а вечером снова тревоги, волнения. И мама совсем не жаловалась, а наоборот — старалась делать так, будто все хорошо и нечего опасаться. Я совсем не знал, что мама моя может быть такой выносливой и самостоятельной, не подозревал, что она такая

сильная без тебя, отец. А мы-то с тобой боялись, что будет с ней, когда ты уедешь на войну!

И тут еще мы получили от тебя, отец, хорошее, смешное письмо и совсем воспрянули духом. Мы несколько раз перелистали с мамой твое письмо, потом на следующий день Марат прочитал мне еще два раза, и я запомнил все слова письма.

И я представил, как вас привезли наконец к месту, где должна была быть война. А там войны вовсе и нет, кругом лес, большие, толстые деревья, и ничего не видно в двух шагах. И ты ходишь, и удивляешься, и не поймешь ничего, потому что впервые видишь лес. Радуешься, залезаешь на деревья, собираешь шишки и, как говорит мама, совсем не думаешь о нас в эти минуты.

А потом командир кричит: «Стройся!», — и ты, как белка, сползаешь с дерева. «Направо, налево!» И тебе здорово достаётся от командира, — ты плохо понимаешь по-русски, путаешь, все идут направо, только ты один налево — смешно!

Затем командир заставляет тебя лечь, ползать между деревьями. У всех это получается хорошо и нормально, только ты один, как назло, застреваешь между двумя соснами и не можешь ни вперед, ни назад, кричишь: «Братцы, помогите мне, не оставляйте, медведи съедят!» Бедный папа... Солдаты тянут тебя за ноги, вытаскивают, а командир влепляет тебе выговор за неуклюжесть. Ну и смешной же ты, отец, на войне, прямо как храбрый Клыч-батыр из сказки.

Ничего, только пиши нам почаще с войны такие веселые письма. И пусть все ходят хмурые и убивают, а ты не падай духом...

Мама сказала, что, пока шло твое письмо, у тебя закончились учения и тебя отправили воевать по-настоящему. Желаю тебе быть хорошим солдатом, храбрым, веселым, и тогда, я уверен, тебя никогда не смогут убить...

Как хорошо! Сегодня дядя Эркин сказал наконец первое слово. Проснулся, поглядел на нас с мамой и сказал: «Ситора». Мы вскочили со стульев и начали ждать, что он скажет еще, но дядя молчал, словно говоря — хватит с меня на сегодня. Уставился на нас, чуть застенчиво улыбаясь, и смотрел то на маму, то на меня, на комнату, на стену и на часы, на окно.

Маме надо было бежать в госпиталь, и она быстро перевернула его на бок и, в честь того, что дядя заговорил, вцепилась ему укол большущей иглой.

— Что это, мама, Ситора? — спросил я, провожая ее к воротам.

— Название местности, где дядя родился. Где-то в Фергане... Ну, будь умником и не надоедай ему своими разговорами.

«Ситора», — сказал я и прислушался. Хорошо звучит, красиво! Понятно, дядя спал и увидел во сне родной кишлак у гор, детство, как он, маленький, босоногий, карабкается по горе, за ним бежит собачка, трусливо повизгивая: не поднимайся так высоко, Эркин, там страшно. Но он лезет, лезет к самым облакам. Внизу красота какая! Маки горят. И между маками кубики-дома. А вот и дом Эркина, мама сидит за пряжей, во дворе сестренка играет с козликом. Здесь хорошо, хо-ро-шо! И горы, и ветер повторяют, как попугай: «Хо-ро-шо!»

И тут дядя Эркин просыпается. И долго не может понять, отчего ему было так хорошо. Ведь на самом деле: незнакомые лица — мое лицо, мамы, боль в теле и уколы, уколы. «А, — думает он, — совсем забыл, была же война...»

Я снова сажусь на стул у его изголовья и какой уж день подряд смотрю ему в лицо и жду, жду, что вот он наконец заговорит, улыбнется и встанет... Но все это придет не скоро. Ладно, я буду терпеть и ждать...

Дядя Эркин уже должен понимать все, раз он заговорил.

Я смотрю ему в лицо и вижу, что оно порозовело, стало немного спокойнее, и глаза поумнели у дяди. Умные такие глаза, все понимающие. Лицо красивое, все острое и гладкое, нос острый, подбородок. И сам он крепкий, широкий — большие ноги, половину кровати занимают, даже чуть-чуть висят, и плечи еле вмещаются. А на подбородке ямочка прорезана, наверно еще с детства.

Он лежит и смотрит на меня, изучает, смотрит на мои руки, волосы, нос и улыбается — я ему, конечно, нравлюсь. И я начинаю рассказывать:

— Папа прислал такое смешное письмо, просто ужас. Мы с мамой так хохотали. Будто он застрял между деревьями в лесу и его вытаскивали за ноги. Папа у меня умный, не думайте, это он так, балуется на войне... Он все делал раньше за маму. Маму мою зовут Нора, она...

— Мама хо-ро-ша-я, — прошептал Эркин, — хо-ро-ша-я... — И начал смотреть на потолок и думать о чем-то и совсем перестал меня слушать. Конечно же, он думал о моей маме, о тех ночах, которые она провела у его постели, и о неприятных уколах, о болях, которые мама старалась ему облегчить.

— Хотите послушать моего папу?

Я распахнул окно, сел на кровать, что-то щелкнуло, переключилось и началось:

— Внимание! На зарядку становись! Раз, два — марш! Направо, налево!

Дядя Эркин застыл, заскрежетал зубами и застонал.

— Это же папа! Мой папа!

Но он не понимал, все стонал и ерзал в постели.

И первый раз в жизни я не дослушал до конца папу — выключил.

— Не надо, — сказал я. — Ну, не надо...

А может быть, он завидовал папе? Папа на войне, а он, раненый, беспомощный, лежит здесь. Кто знает?

Я уже не помню, сколько дней мы ухаживали за дядей Эркином: может, месяц, а может, и два, точно не помню. С утра до вечера я пихал в него лекарства, развлекал рассказами, а с вечера всю ночь до утра с ним сидела мама. Вот поэтому-то дни текли однообразно и казались одним длинным, ненормальным днем. Я почти не выходил на улицу и однажды очень удивился, когда увидел, что все листья слетели с виноградника. И вот тогда-то — ура! — дядя Эркин, мой родной, хороший дядя Эркин, который столько намучился, у которого так сильно болела спина — мы с мамой волновались и боялись, сможет ли он встать, выйти на улицу, смотреть на деревья, вокруг, на людей, на небо, на солнце и кричать: «У-лю-лю! Чертовски хороша она, эта жизнь!» — он, мой дядя Эркин, встал!

Встал наконец! Крикнул:

— Магди, ко мне!

Я вскочил как сумасшедший, испуганный и радостный, побежал к нему в комнату и, весь съезжившись, как будто это не у него, а у меня сейчас хрустнет спина, схватил его за руку и помог выпрямить спину, затем сбросить ноги с кровати на землю, встать.

— Вот! — весело сказал он. — Вот и все! Ура!

— Ура! Хо-хо!

— Ха-ха! Ура!

— Теперь можно обратно! Раз-два, на войну!

— Да, — сказал я, — теперь можно!

А самому, дуралею, вдруг захотелось плакать.

— Да, теперь все.

Все, дядя Эркин выздоровел. И он уедет опять в леса, о которых так интересно рассказывал по вечерам. И не будет теперь дяди Эркина. И я останусь, как и прежде, один с мамой. И нам будет скучно и тоскливо. Останется только сидеть и ждать папу с войны — больше ничего. И мама, наверное, погонит меня в школу к страшному хромому учителю.

Мама скажет: «Хватит шалопайничать Тебе уже восьмой год пошел и пора браться за ум».

Раньше она этого не говорила и не заставляла хвататься за ум — за дядей Эркином надо было присматривать.

— Теперь все, — повторил я и поежился.

Дядя Эркин засмеялся и потрепал меня по волосам — дурная привычка трепать волосы, которых почти нет, — и сказал:

— Ничего, малыш. У вас будет другой дядя. Мама возьмет другого.

— Не нужно другого. Он будет капризничать и важничать. И выплевывать лекарства обратно.

— Тот, другой, будет поинтереснее — генерал! А не солдатишко.

— Не хочу генерала! Он будет важничать. Я назло не стану за ним ухаживать.

— Чудак человек! Генералы бывают разные. Придете с мамой в госпиталь, и ты сам выберешь хорошего генерала.

Все равно мне будет плохо без тебя, дядя Эркин, нечего уговаривать. Проснусь утром, а тебя нет. Кровать пустая и холодная... Скажу «доброе утро», будешь молчать, будто обиделся. Выйду во двор, прислушаюсь — только виноградник шелестит, скучно-скучно. И на улице тебя не будет, буду ждать, ждать, и неизвестно, вернешься ли ты к нам снова с войны.

— Не бойся, — сказал вдруг дядя Эркин, — буду стараться...

— А вы зря не надеваете талисман, который дала вам ваша мама. Старики знают...

— Ничего никто не знает. Посмотрим, мальчик. Там видно будет. На месте всегда виднее.

— Вы ведь не скоро? Вам еще надо потолстеть. А на это уйдет месяц, а то и больше.

— А я на войне потолстею. Самый раз...

Ну почему ты шутишь, дядя Эркин? Видно, тебе все равно, буду я с тобой или нет. Станный вы народ, взрослые...

— Ну, хватит, — сказал дядя Эркин, — помнишь, что наказывал тебе папа — выше нос, как Буратино!

И я вздохнул, взял дядю Эркина под руку и вывел на улицу.

Вот и наша улица, даже стыдно перед дядей Эркином. А он зажмурил глаза, задышал часто-часто, глубоко-глубоко.

— Эх! — и смахнул что-то с глаз, наверное соринку. И начал смотреть по сторонам и радоваться. И опять смахнул с глаз соринку. Проклятая улица — минуту нельзя постоять, ветер обязательно сдует с крыш саман.

— Хорошо! — сказал дядя Эркин. — Замечательно, малыш! И зря ты наговаривал на вашу улицу. — Посмотрел на вывеску на наших воротах и вдруг рассмеялся: — Улица Кирпичная, дом 5.

Что тут смешного? Сегодня ему все кажется веселым, смешным. Не то что мне.

— Кирпичная! Ни одного кирпича вокруг.

— Я же говорил вам...

— В этом тоже своя прелесть, малыш. Ни черта ты не смыслишь в жизни!

И, пока мы смотрели на вывеску, смеялись, сзади послышались шаги — прямо на нас.

Полоумная Медина и ее неумная подруга Шарофат, соседки!

Я вздрогнул — смотрят так, будто мы в чем-то виноваты. А дядя Эркин, ничего не соображая, кивнул им — мол, здравствуйте.

— Это тот мужчина, соседка, — сказала Медина, презрительно кивая в сторону дяди Эркина, — которого Нора, мать этого несчастного мальчика, пригрела возле своей бесстыжей груди. А отец на войне кровь проливает и ничего, бедный, не ведает!.. Э-хе! Времена...

— Времена, времена, — закивала белой головой Шарофат. — Все смешалось. И правда и неправда. И чужие жены с чужими мужьями. И как говорится в коране: во тьме люди волкам уподобились.

Дядя Эркин стоял бледный и растерянный и все время тер себе щеку.

— И вам не стыдно?

— Ты нас не стыди. Мы чужих жен не развращаем, на чужой постели не спим. Ты отца его постыдись, не умер еще. Вы с его матерью в любовь играете, а мы, думаете, слепые и глухие? Ничего не слышим? Ничего не видим? Убирайся-ка ты подобру-поздорову с нашей улицы!

— Да что вы, черт возьми, — начал было сердито дядя Эркин, но тут у меня прошел страх. И я сказал:

— Вы злые и нехорошие! Мы еле-еле вылечили, а вы... И улица эта не ваша, а общая...

Меня никто не слушал, перебивали:

— Где это видано? У какого народа? Чтобы замужняя, неразведенная? Стыд и позор!

— Уходите вы, злые, нехорошие! Приедет папа, он вам покажет! Идемте домой. — Я стал тянуть дядю к воротам, но он упирался, весь дрожал. И кричал что-то.

И так до тех пор, пока на улице не появилась моя мама.

Я бросился к ней:

— Мама!

Мама остановилась, ничего не понимая, бросила мне в руки свою санитарную сумку — и быстро к дому. И, не обращая ни на кого внимания, — дяде Эркину:

— Как?! Я же говорила вам, еще рано! Я же говорила!.. Что здесь происходит?

Минуту все молчали, поглядывая на маму, будто видели ее впервые, а дядя Эркин пожимал плечами и, заикаясь, говорил:

— Чушь какая-то! Ей-богу...

А я протиснулся между мамой и дядей Эркином и выглядывал оттуда на злые, удивленные лица соседок.

— Кому что неясно? — спросила мама. — Я слушаю...

Но по лицу ее было видно, как она волнуется, растерялась и боится за дядю Эркина.

— Мы хотим знать, Нора, — сказала Медина спокойно, — кто этот мужчина?

— Вы об этом спрашивали в первый день его приезда. Что еще?

— Ты умная женщина, докторша, и мы тебя уважаем, но люди... они удивляются...

— Чему же?

— Как это, чужой мужчина...

— Эркин лечится в моем доме. И пусть это вас не волнует!

— ...Ты женщина замужняя...

— Так что же? Не понимаю.

— ...и мы думаем, что твой муж, Анвар, наш уважаемый инженер...

— Будет огорчен, так? Так знайте все, что мой муж инженер Анвар, он рад, он доволен!.. Надеюсь, после такого объяснения всякие разговоры прекратятся... Но, если бы даже мой муж инженер Анвар не был бы рад и доволен, все равно Эркин должен лечиться в моем доме!.. Что еще?

Вопросов больше не было.

— Идите домой и ложитесь, — строго приказала мама дяде Эркину, и он пошел, лег на кровать и стал смотреть на тени на потолке. А мама как ни в чем не бывало начала готовить шприц для укола.

Мне же все было очень и очень непонятно. При чем здесь папа? Непонятно. И что плохого, если мама взяла из госпиталя совсем умирающего дядю Эркина и сегодня наконец он встал? Взрослые должны радоваться, а они... И что тут плохого, если дядя Эркин очень хорошо относится к маме, ждет

ее целыми днями из госпиталя, и радуется, и чуть не прыгает до потолка, когда она приходит и начинает делать ему больный-пребольный укол? И мама, я замечаю, в последнее время часто сидит с дядей Эркином, они разговаривают вполголоса, иногда смеются, и им обним хорошо и весело. Что тут плохого? Непонятно. И папа, когда мы ему написали про дядю Эркина, похвалил маму и прислал ей вырезанный из картона орден, где было написано: «За милосердие, 1-й степени», — и обещал ей настоящий, когда сам заработает.

— Магди, — позвала меня мама. — Иди посиди с дядей. Я на кухню.

Я зашел к дяде в комнату, а он даже не пошевелился, смотрел на потолок.

— Ладно, — сказал я, — не переживайте. Мы их победим, этих старух. Ерунда!

— Да, — сказал дядя Эркин, но очень тихо, — ерунда. Откуда ты знаешь, что ерунда?

Он подвинулся, и я сел на край кровати.

— Расскажите мне лучше про лес, — сказал я, — про тот самый лес.

— О, как много я уже тебе рассказывал!

— Я люблю слушать про лес.

— Ладно, — сказал дядя. — ...В том лесу... Мы идем, идем по лесу, целый отряд, много солдат. Идем день, два, идем, идем, а лес все не кончается. И вдруг темно и ничего не видно. Ни дороги. Ни огня. Страшно. Идем тихо, осторожно... Вокруг немцы. Много немцев.. И вдруг один солдат не выдерживает и кричит: «Мама, мама, оклики меня в лесу! Помогни мне, мама!» И тут немцы начинают стрелять... Строчат из пулеметов, пушек, танков. А солдат все кричит: «Окликни меня в ле-су...»

И тогда командир вырывает из своей груди сердце, горящее, ослепительное сердце, и, высоко подняв над головой, ве-

дет нас по лесу уже не страшному и светлому... И звали этого командира Данко...

— И все?

— Да.

— А дальше? Они вышли из леса? Солдат успокоился?

— Остальное завтра. Тебе пора спать.

...И я иду по лесу. И кругом темно и страшно. И страшные коряги протягивают руки, чтобы схватить меня. Я кричу, хочу бежать. Но ноги будто привязаны к земле. А с деревьев на меня смотрит Баба Яга, очень похожая на Медину. Смотрит и смеется противным смехом:

— Ха-ха! Вы еще ответите перед всей улицей...

А с другого дерева другая страшная старуха, Шарофат.

— Времена, времена... Да, ответите за все. — И протягивает ко мне руки и хочет задушить.

— Мама! — кричу я. — Мама, оклигни меня в лесу! Помоги мне!

Кричу и не слышу своего голоса. Онемел от страха.

— Что с тобой, малыш, успокойся! — мама обняла меня, начала целовать.

Я открыл глаза: наша комната, мама, дядя Эркин, ночь.

— Мама, — прошу я, — не надо от меня скрывать. Что случилось? Что хотят эти старухи? Я хочу знать, все хочу знать!..

— Умоляю вас, реже попадайтесь на глаза этой Медине, — сказала мама дяде Эркину, — она полоумная и может натворить глупостей.

— Спасибо, спасибо за все! Я уже вполне здоров. И скоро смогу опять на фронт.

Дядя встал и начал браво, как оловянный солдатик, расхаживать по комнате, а мама кричала ему:

— Ну, хватит, хватит. Хорошего понемножку. Не пе-

реутомляйтесь. — И они оба рассмеялись — так им было весело.

Странные они, эти взрослые. Часто смеются просто так, безо всякой причины, но у мамы и дяди была причина — дядя почти выздоровел, и пусть они смеются, пусть смеются побольше, потому что мама так давно не радовалась и не смеялась.

— Как хорошо снова жить, ходить, это очень здорово! — говорил дядя. — Я всегда буду помнить, что живет на свете женщина, которая помогла мне в беде. И эта женщина вы, Нора.

— Ну что вы! Зачем такие высокопарные слова?

— Это радость, поверьте мне.

И так они, взрослые, говорили и говорили в тот вечер, клянясь друг другу в признательности, и это меня смешило. Затем дядя Эркин сказал:

— Сегодня ровно три месяца, как я у вас в доме. Двадцатого августа — двадцатого ноября. Двадцатое число каждого месяца — это мой праздник. Представляете, Нора, какой я богатый — двенадцать праздников в году, каждый месяц — праздник!

И вдруг дядя Эркин сделал такое, что я просто ахнул. Он взял маму за руки, и они стали медленно передвигаться по комнате под грустную мелодию, которую напевал дядя. Они совсем забыли обо мне, танцевали и смотрели друг на друга.

Я сидел и любовался ими. Еще никогда я не видел, чтобы у дяди было такое доброе и чуть грустное лицо. А мама, никогда бы не подумал, что она может так красиво танцевать, никогда я не видел, чтобы она танцевала с папой. Просто, наверное, папа не умел или не хотел, ему было не до танцев.

Дядя был в два раза шире мамы и почти в два раза выше, он был неуклюжим оттого, что рана не совсем зажила.

Они танцевали очень долго, потому что мелодия, которую напевал дядя, оказалась очень длинной.

Затем мама увидела, что я смотрю на них, и сказала дяде:

— Возьмем с собой мальчика.

И я стал между ними и тоже закружился, смеясь и напевая мелодию дяди...

Я совсем не знаю, спит мама все эти дни или нет. С вечера уйдет в комнату дяди Эркина и снова выносит оттуда ведро, полное жуткой и страшной ваты и ампул, бегаёт, суетится и совсем не отдыхает — все свое время, сон, еду, отдых отдает тому, чтобы окончательно вылечить дядю Эркина.

А по утрам проснусь я и сразу вижу их у окна — маму и дядю Эркина, — смотрят, как приходит в сад солнце, говорят тихо, вполголоса, словно боясь испугать солнце и новый день. О чем же они говорят? Прислушался как-то. И ничего не понял. Просто об осени, о листьях виноградника, будто ничего другого и нет на свете.

В те дни мы получили письмо от папы. Опять же он больше писал о нас, чем о себе. Единственное, что можно было узнать из его письма, это то, что он целыми днями и ночами идет с солдатами мимо деревень и городов. Непонятно, что это за война, если солдаты только тем и занимаются, что топают. Можно подумать, что война — прогулка по красивым местам, и больше ничего.

Мы тут же сели с мамой писать ему ответ. Вначале мама написала все то, что хотела сказать сама...

«Дорогой Анвар. Скорее бы кончилась война, ты представить себе не можешь, как мне трудно без тебя, родной. Эркин уже выздоравливает, выходит с Магди на улицу. Как я измучилась с ним! Но он хороший и добрый и совсем не капризный. Почему ты так мало пишешь о себе? Я совсем не знаю, как ты там, и мне становится порой очень страшно. Смотрю на Эркина и думаю, как мучается человек, как все не-

лепо бывает. Его ранили в самом первом бою. Но он уже выздоравливает и скоро отправится на фронт. А вдруг вы там встретитесь, вот будет интересно!..»

Все Эркин да Эркин... Эркин то сделал, Эркин то сказал... Ладно, зато я не скажу о нем ни слова, назло маме.

«Папочка, я уже вырос. Все ходят в школу, а я нет. Решил подождать. Вот приедешь ты, тогда буду учиться, а сейчас учеба не лезет в голову. Все думаю о тебе...»

Мы сидели с мамой во дворе и грелись на солнце. Дядя Эркин спал. Мама только что перевязала ему рану, и он уснул.

— Скоро будет долгая, очень долгая зима, — сказала мама.

— А я люблю снег! Ты же знаешь, как я люблю снег!

— Бежишь в госпиталь, а на улице еще темно, — думая о чем-то другом, сказала мама.

Я давно хотел спросить у нее:

— Мама, скажи, дядя спит, я сплю, и папа, наверное, в это время спит на войне, только ты не спишь. Я же слышу, ворочаешься в кровати за стеной. Почему?

— Я слежу, как бы дяде ночью не стало плохо.

— Помнишь, у папы было что-то нехорошее на работе и вы не спали. Говорили мне, спи, а сами не спали. Если бы ты мне рассказала, тебе было бы, наверное, легче.

Но она ничего не ответила, только прижала меня к себе.

И еще она часто рассматривала папины вещи, возьмет папину рубашку, и сидит, и рассматривает... И еще перечитывает все папины письма. И ничего не говорит мне. Думает о чем-то, думает.

Я ей говорю:

— Тебе нельзя так много думать, будет склероз. Пом-

нишь, ты папе запрещала много думать, говорила, что будет склероз.

Как бы я хотел превратиться в волшебника, тогда бы я сразу узнал, что у мамы на сердце и отчего она так много думает. Помню, волшебник из сказки любил повторять: один ум хорошо, а два лучше.

И тут пришло письмо от папы.

— Магди, — услышал я голос Марата, выскочил на улицу. — Станцуй, — сказал Марат.

— Некогда. — Я выхватил у него письмо и побежал к маме. — Письмо от папы! Станцуй!

— От папы? — Она не вскрикнула, как всегда, не обрадовалась. — Что-то невообразимое, — сказала она. — Я только что думала о папе — и вдруг от него письмо. Как будто он чувствует...

Странно, читала она его смешное и веселое письмо и плакала.

Целый день мама была грустной. Все падало у нее из рук, упало ведро, разбилась ампула с лекарством. Потом она заперлась в своей комнате и не выходила ни ко мне, ни к дяде Эркину.

Что происходит с моей мамой, не знаю.

Тогда я ведь очень многого не понимал, не понимал, что она мучалась и не знала, что поделать с собой, со своими чувствами...

«Здравствуй, дорогая мама. Я очень скучаю по тебе. Виноград был такой вкусный, что просто у всех солдат слюнки текли. Но я поделился с ними, я же не скряга. Не бойся, мама, меня не убьют, я буду стараться, чтобы меня не убили, буду смотреть в оба. И твой талисман я всегда ношу с собой, и он спасает меня от смерти...»

— Хватит, — кричу я, — хватит о смерти!

Марат бросает карандаш.

— Пиши дальше ты. Я не могу. Не могу обманывать больше! А что мы напишем, когда кончится война, что?

— Иди тогда, признавайся. Скажи Лейле-апе — ваш Хаким давно умер. Это мы пишем вам письма за него.

Мы всегда злимся друг на друга, когда сочиняем письма умершего сына матери. Каждый из нас почему-то чувствует себя виноватым в том, что его убили. Но как пойти и сказать матери, что ее сына больше нет, и зря она пишет ему письма, и он их уже давно не читает?

И вот каждую неделю мы пишем матери письма умершего сына и Марат читает их ей — она полуслепая и не видит, что почерк не дяди Хакима. Потом она диктует ответ, и Марат пишет умершему сыну от матери. Она говорит очень трогательные слова, и когда мы слушаем их, у нас по коже бегают мурашки оттого, что нет его уже, ее сына.

Сегодня моя очередь сочинять письмо. Я придумал сказку о лесе и о папе, и она так и вертится у меня на языке, так и хочется, чтобы сын писал матери:

«По темному лесу мы идем с солдатами, и с нами папа Магди. Помнишь, живет на нашей улице мальчик Магди, худенький, длинноногий? И вот мы идем с его папой, инженером Анваром, побеждать врагов. В лесу то вспыхнут глаза волка из-за кустов, то Баба Яга оскалит зубы, сидя на дереве... А деревья шумят, потому что все они заколдованные, и гром гремит, и молнии сверкают... И кто-то из солдат не выдерживает и начинает кричать: «Мама, мама, оклихни меня в лесу, приди и помоги мне!» И тут папа Магди, инженер Анвар, вырывает из своей груди сердце, большое, сильное, яркое как солнце, и ведет за собой солдат. И лес расступается, и убегают волки и Баба Яга, и успокаиваются деревья. И солдаты разбивают всех немцев, и мы побеждаем...»

Мы так и пишем. Дарим матери мою сказку. Пусть ей будет легче жить и верить...

Просто невозможно ходить по нашей улице. Выйдешь, обязательно увидишь, как полоумная Медина шушукается с какой-нибудь соседкой. О нас шушукаются, о маме и дяде Эркине, зло так, противно.

Что бы ей такое сделать, чтобы она замолчала?

И тут еще дядя Эркин тоску нагоняет своими расспросами: что, как?

— Что-нибудь опять говорила эта полоумная Медина?

— Нет, ничего!

— Говорила же, вижу по твоему лицу. — А сам побледнеет, или мне так кажется, не знаю.

Почему он такой, дядя Эркин? Неужели он боится их? Я маленький и то не боюсь ни капельки, а он...

Зато он был очень талантливый в детстве, не то что я. Играл на скрипке, да так, что все родственники плакали от умиления.

— А почему вы не стали великим музыкантом? — спросил я. — Ведь все, кто с детства играет, становятся великими.

— Бросил. Отец у меня был свирепый. Взял и сломал скрипку, когда увидел, что я всерьез занялся. Для него не существовало такой профессии — музыкант.

— Странный отец. А вы?

— Я горевал и даже заболел. Но потом свыкся. Глупый был.

— Я бы ни за что!

— Знаю, ты герой... Мой отец знал всего лишь семь букв алфавита. Считал центром вселенной сельсовет. Рассказывают, что, когда я вылутился на свет, он прибежал с поля, прогнал всех старух-богомолок и положил рядом со мной куст хлопка — на счастье!.. Хотел, чтобы я, как и он, рос с хлопком и любил землю. А я заупрямился, бросил все и уехал в Ташкент, и выучился там. Стал преподавателем.

— А у вас есть дети, дядя?

Он ответил не сразу. Пощупал горло, будто ему трудно стало дышать.

— Один я... — ответил он тихо. И добавил: — Мать умерла, и отец в прошлом году... Тебе хорошо, мальчик, у тебя такая мама...

Мы немного помолчали.

— Что ж, — сказал я, — ничего не поделаешь, надо принимать лекарство.

Бедный дядя Эркин молча соглашается. И я смотрю, как он глотает таблетку, и думаю: наверное, в животе у него накопилось больше тысячи таблеток. И непонятно, как это туда еще вмещается пища. Я бы не смог так, я бы кричал, швырял таблетки, а он глотает, глотает, глотает их без конца.

После таблетки дяде надо немного полежать вверх спиной, потерпеть. Он весь становится красным, как апельсиновая кожура, морщится и кусает губы от боли. И я пугаюсь, не знаю, как помочь ему.

Вот и сейчас, не успел он полежать две минуты, как начинает ерзать, будто лежит на горячей постели, стонет.

— Дядя, родненький, еще чуточку, еще чуточку, сейчас пройдет...

Дядя Эркин сбрасывает с себя одеяло. Пытается встать. Я помогаю ему, подвожу к окну. Он смотрит в окно и вдруг принимается насвистывать. Вначале еле слышно, потом сильнее. И забывает обо всем на свете, обо мне, о боли в спине. И смахивает что-то с глаз, наверное, соринку.

— Дядя...

Он берет палку, на которую опирается, и линейку со стола, вытягивает руку и играет. Будто это не палка, а настоящая скрипка, а я — полный зал слушателей.

Вот это да! Вот так дядя — настоящий музыкант!

— Что-нибудь веселое, дядя!

Он кивает, кланяется публике.

Все кружится вместе со мной, танцует. Стол на пузатых

ногах топ-топ-топ, кастрюля, обнявшись с кружкой, тук-тук, и папин сапог тоже не выдерживает — том-том, и стекла на окне качаются, дрожат — дзиль-дзиль.

Вот это да! Вот так веселье! Такого веселья у нас давно не было!

VII

Я всегда радовался зиме, ждал ее. Чистый снег на винограднике, на крышах, на шапках людей закрывал и прятал все гнилое, грязное, и все после зимы рождалось новое и хорошее, до следующего лета, пока на крышах опять не набирался мусор, а на винограднике — гнилые листья и ветки. Я всегда радовался зиме, ждал ее, но эта зима принесла в наш дом снова грусть, тревоги, потому что дяде Эркину снова стало плохо. Рана на спине у него закрылась, и мама больше не выносила на улицу противную вату и бинты, зато дядя начал много и долго кашлять, и кровь теперь шла у него из горла.

Что случилось с ним, с моим дядей? Что сделала с ним предательница-зима, которую я так ждал — думал, мы с дядей будем кататься по снегу, бегать, и смеяться, и дышать глубоко-глубоко чистым воздухом.

Я знал, это проклятая, полоумная Медина накликала на дядю беду. Говорят, она ходила к соседу Калантару, просила, чтобы он послал дяде смерть, а маме — муки ада. Ничего, придет папа, он отомстит ей за все, если дядя Эркин сам не захочет мстить. Мне кажется, что дядя боится Медину и всех соседок, иначе он бы встал, пошел и заткнул бы им рот. А он... Он только спрашивает, что говорила Медина. Как она говорила? А мама вовсе не обращает на них внимания, она молодец. Глупости, пусть говорят, что хотят, мне все равно — вот слова мамы. Как это смогла она стать такой храброй, непоятно.

Однажды к нам в дом пришли сразу шесть врачей, и, когда

они, осмотрев дядю, ушли, мама закрылась в своей комнате и начала плакать.

Мама плакала потому, что столько ночей не спала и сидела с дядей, а ему опять стало плохо. Она плакала потому, что сделала бедному столько уколов, ему было больно и страшно, а теперь опять все пошло сначала. Она плакала потому, что дядя выходил уже на улицу и играл на скрипке, а теперь не мог, и надо было снова лежать и ждать выздоровления.

Бедная мама, она снова начала ходить в старом платье, забыла, что она женщина и надо мазать лицо кремом. И снова все стало падать у нее из рук, и не было больше моей веселой, счастливой мамы, мамы, которая ходила гордо оттого, что очень нужна дяде, что делает ему добро, что и она теперь может быть кому-то полезной.

Но что же все-таки случилось с дядей Эркином? Я спрашивал об этом у мамы, но она твердила одно: «Все будет хорошо, все будет хорошо».

И только лет через десять, когда многое уже начало забываться, я случайно нашел в столе у отца наши с мамой письма. Среди них было одно, которое мама отправила отцу без меня, хотя все остальные писали мы вместе.

«Дорогой Анвар! Не знаю, как тебе рассказать. Случилось такое несчастье... Эркин болен. Он страшно болен. Что делать? Посоветуй мне. Как спасти его? Умереть сейчас — разве это справедливо, скажи мне, справедливо, ведь ты все знаешь, Анвар, умоляю...»

VIII

— Побежали в мечеть, — задыхаясь, сказал Марат, и мы по задворкам пробрались к мечети, полезли на самый ее верх, к куполу. Там было круглое отверстие, откуда можно наблюдать за всем, что творилось внутри мечети.

Старики, галоши, чалмы и ишан Калантар. Все это внизу, все перемешано, разные краски и запахи. Противные запахи заплесневелых стен вытягиваются в отверстие и не дают нам дышать.

Вот уже закончилась молитва, и верующие, поговорив с богом, окружили Калантара. А он, полон достоинства, мудрости, подняв руки к небу, сказал:

— О, мусульмане! Мы должны сегодня решить вопрос чести и благопристойности...

Марат был сосредоточен и хмур, а меня почему-то пробиравал смех — вспомнил, как мы с дедушкой кричали: «Шарабара, продаем, меняем старые галоши на новые».

— В мудром писании говорится: и, когда начнут жиреть и в беспечности забывать о боге, появится на небе черная звезда несчастий, посланная богом, и тогда люди, как шмели бешеные, станут жалить друг друга...

Это он об отце своем вспомнил, как тот, бедный, скончался, проглотив во сне шмеля

— Да будет вам известно, что война — это и есть та черная звезда несчастий! И да будет вам известно, что сами же узбеки, забывшие о боге, накликали на головы своих собственных детей эту черную звезду...

— Интересно, да, Марат?

— Тише!

— Выходит, наши отцы сами накликали черную звезду?

— Замолчи!

— И в то время, когда мужчины умирают на войне за веру нашу, против проклятых кафиров, жены их... о, да простит мне аллах, забывают о чести и совести...

И вдруг все закричали: «Правильно!», — все зашущукались, заволновались, непонятно отчего.

— Все вы знаете докторшу Нору, жену инженера Анвара...

И все сказали:

— Знаем!

И еще больше заволновались.

Нора? Кто это Нора? Это же моя мама. Жена инженера Анвара.

— Женщины раздражены ее поведением. Они негодуют, страдают. Они приходят ко мне, они просят, умоляют, чтобы мы с вами, братья, установили наконец, нет ли в ее отношениях с тем мужчиной чего-нибудь такого, что порочит скромное, стыдливое имя узбекской женщины.

— Она совсем забыла о своем муже! — закричал Мекка, муж полоумной Медины. — Жена моя узнала об их порочной связи.

— Это позор! Что, если наши дочери возьмут с нее пример, с этой докторши?

— Мы, мужчины, станем посмешищем, жены уйдут из-под нашей власти!

— И распадутся семьи, как говорится в коране, и начнется кровосмешение, и исчезнут роды. Гнать их с нашей улицы! Гнать!

Я кусал губы со злости и шептал Марату:

— Ерунда! Ничего они не сделают. Это не только их улица, а общая.

— Надо бежать и предупредить твою маму.

— Приедет папа... он покажет им...

— Неправда! — вдруг послышался голос там, внутри мечети.

«Кто это посмел?» — старики зашевелились, зашушукались.

— Неправда это, уважаемый! — Сираж-бобо, тот, который по утрам пускает вату в сторону солнца, вышел из толпы и сказал Калантару: — При всем моем уважении к вашей седой бороде (откуда он взял у Калантара седую бороду?) я не могу согласиться... Она лечит чужого человека. Она ему помогает. Она делает добро. И в коране нашем говорится:

«Да славится тот, кто в трудную минуту протянул руку страннику». — Он говорил торопливо, обращаясь то к одному, то к другому старику, которые слушали его с презрением: — Хоть убейте меня, не согласен.

Калантар махнул рукой, как будто говоря: отстань, дурак.

— Сейчас война. И она помогает тем, у кого горе и боли. Мы не должны быть с ней жестокими.

— Выходит, я не прав? — сказал Калантар, противно усмехаясь. — Вы слышите, мусульмане, я не прав!

— Он с ума сошел! — раздались голоса.

— Гнать его из мечети!

Но Сираж-бобо, набравшись храбрости, закричал на Калантара:

— Ответьте мне, вы, наш отец, ответьте мне: зачем понадобилась богу душа моего двадцатилетнего сына? Невинного, кроткого, как агнец? Зачем? Немцы убили его, и бог взял его душу! Зачем?

— За грехи такого осла, как ты, — ответил Калантар, не задумываясь.

— Если богу так нужна душа, пусть он возьмет мою, старую. Я уже прожил свое. А он был молодым, он ничего не видел, он хотел жить. — Сираж-бобо заплакал. — Бог жесток, — продолжал он сквозь слезы, — и всегда он приходит за своей жертвой не вовремя. И берет того, кого не нужно, без разбора.

— Да замолчи ты!

— Сумасшедший!

— А эта женщина делает добро. Она все бы сделала, чтобы спасти моего мальчика, но бог его взял. Я преклоняюсь перед этой женщиной. А богу я говорю: ты жесток! Пусть он меня судит.

И все расступились перед ним, и Сираж-бобо медленно пошел сквозь ряды злых и противных людей...

Мы побежали домой. Я ходил по двору, прислушиваясь, затем пришел к дяде Эркину.

— Ничего они не сделают, не бойтесь! — Я закрыл дверь. — Сейчас пойдет дождь. И они побоятся.

— Они идут сюда?

Дядя побледнел, сел на кровать.

— Нет! Сейчас пойдет дождь. Скорее бы пошел дождь.

— Сейчас придет мама.

— Да, мама придет сейчас.

— Черт возьми, пусть они приходят! Они мне снились, эти призраки. Костлявые призраки! Пусть скорее! Скорее же! — закричал он.

— Ложитесь, дядя, умоляю вас.

И тут начали стучать в дверь. Тихо, потом громче.

— Это ветер. Да, ветер.

— Иди открой, Магди, не бойся!

— Докторша Нора, откройте!

— Это Калантар!

— Пусть это будет сам дьявол. Открой! — закричал дядя, не в силах встать сам.

— Голос мамы! Мама пришла, дядя!

Я бросился на улицу. Мама и Калантар... — еще двое стариков.

— Мама! От папы письмо.

— Мы пришли, уважаемая докторша, от имени мусульман и всех жителей улицы, — сказал Калантар.

— Прошу, заходите.

— Нет, нет.

Один из стариков, Мекка, злой, трет шею, руки, будто жарко. Второй, Сафар, смотрит в землю, качает головой. И еще какие-то люди бегут, еще дети. Медина возле своих ворот.

И мама все время поправляет волосы.

— Так что же вы решили узнать? Хотя, насколько я понимаю, от имени улицы всегда говорит домоуправ.

— А ты не хитри, не хитри! — Медина подбегает к маме и бьет себя почему-то в грудь. — Бесстыжая!

— Мы очень уважаем вас, докторша. И хотим уберечь от непродуманных поступков, которые, знаете ли, могут бросить тень на вашу семью.

— Магди, ты что здесь делаешь, иди к дяде, я сейчас...

— Почему ты, дочь таких почтенных родителей, жена человека ученого, сама ученая, привела в дом чужого мужчину? — спросил Мекка у мамы, и Медина подданнула.

— Я врач, он раненый, и я обязана его лечить.

— Он твой любовник! — бьет себя Медина в грудь.

— Вы, наверное, забыли, что идет война. Он раненый, я должна вылечить его. — Мама была очень спокойна.

— А как же ваш муж, инженер? — спросил Калантар. — Я спрашиваю от имени всех мусульман.

— Я не мусульманка! Я бы вам объяснила, Калантар, но ведь вы не поймете... Эркин! — закричала мама. — Не выходи!

Но дядя не послушался. Все отступили, увидев его, бледного, очень больного, еле переступающего через порог на улицу.

— Насколько я понимаю, речь обо мне? — он улыбался как-то очень странно, глаза его блстели. — Что ж, я готов! Обвиняйте меня!

Все молчали. Мама бросилась к нему.

— Магди! Его надо в постель!

— Только не трогайте ее... Она ни в чем не виновата...

— Ведите его в дом, — сказал кто-то. — Ему очень плохо.

И соседи начали расходиться. Калантар, Медина, старики — все исчезли. А мы уложили дядю в постель, и он забылся, потерял сознание.

А утром кто-то разбил о наши ворота сразу несколько бутылок, и порог дома был усыпан осколками.

Это значит, что соседи отвернулись от нас, объявили нам войну.

Что ж, ладно! Посмотрим, кто кого!

Я нашел в чулане банку с черной краской и рано утром перебежал улицу и всю краску вылил на любимые ворота Медины. Пусть теперь позлится!

И еще я решил написать папе, чтобы он прислал мне бомбу.

«Дорогой папа, пришли мне как-нибудь незаметно бомбу. Нет, только не подумай, что фашисты захватили наш город и держат маму в плену и мучают меня, чтобы я перешел на их сторону. Этого вовсе нет, если бы фашисты сунулись сюда, мы бы с Маратом ушли в партизаны и поймали бы самого главного фашиста, когда он проезжал бы на мотоцикле. Мы бы его допросили, а потом...

Я не знаю, что бы мы с ним делали, что-нибудь придумали бы.

Пришли мне, пожалуйста, бомбу. Это очень важно, и без бомбы я просто не знаю, как быть дальше».

Так я сидел и сочинял в уме послание папе, пока не прибежала к нам Медина вся, как ведьма, в черной краске.

— Убили меня! Хотели потопить в краске, чтобы вы сгорели на медленном огне, чтобы на ваш дом чума налетела!

Мама растерялась от ее крика, а я спрятался. Мама спрашивала, что случилось, но Медина кричала как чумная, и ничего нельзя было разобрать, кроме угроз. Мама не выдержала и закрыла перед ней дверь на задвижку. Медина еще долго кричала и стучала кулаками в дверь, и это действовало на нервы дяде Эркину.

— Ну что они все хотят? Что? — не понимал он.

— Не обращай внимания, — сказала мама как можно спокойнее.

— Думал, скоро все кончится — уеду, забуду! Но нет же, нет! И кончится ли все это, Нора?

— Ты обязательно поправишься. Это от зимы, от зимы у тебя все началось снова.

— Ты что-то скрываешь, Нора. Я знаю, как тебе тяжело. Не мучайся со мной, прошу тебя. Отвези меня в больницу.

— Верь мне, все будет хорошо.

Мама вошла в мою комнату, где я спрятался от Медины за шкафом, остановилась у окна и заплакала.

Я вылез из-за шкафа. Мама вздрогнула. Обняла меня.

— Прости, мама, я больше не буду обливать краской ворота Медины.

IX

Часто, когда дяде становилось очень плохо, мама выбегала во двор и кричала:

— Магди, скорее!

Это значит, что мне надо было бежать в госпиталь и звать докторшу тетю Зульфию маме на помощь. Потому что маме казалось, что одна она уже ничего не сделает. Тетя Зульфия прибегала, что-то объясняла маме, успокаивала ее, они вместе возились с дядей Эркином, пока ему не становилось легче. Маме очень нужен был кто-то из взрослых, кто бы ее подбадривал, вот тетя Зульфия этим и занималась.

Сегодня тоже пришлось бежать в госпиталь за тетей Зульфией. Женщина с красной повязкой у ворот уже знала, что мне нужно, и вела меня по коридорам мимо раненых; и я не боялся их, как раньше, разглядывал и уже мог определить, кто из них солдат, а кто генерал.

— Куда же она пропала, Зульфия? Вы не видели Зульфию? — спрашивала женщина у каждого. А я торопил ее:

— Скорее, скорее, мама просила скорее!

И мы опять шли и шли по коридорам, заглядывали в палаты, но тети нигде не было. Где же тетя Зульфия? Мне чудилось, что мама зовет все время меня и тетю, что ей очень плохо.

Но оказалось, что тетя Зульфия поехала на вокзал встречать новых раненых.

— Как только она придет, я пошлю ее к вам, — сказала женщина.

Я бежал домой и думал, что бы сказать маме такое, отчего бы она успокоилась.

Кто это выходит из наших ворот? Дедушка! Милый дедушка приехал, как всегда, неожиданно-негаданно.

— Обманщики и ханжи! — кричал он, перебегая улицу. — Дышать нечем на этих улицах! Все загадили.

Видно, кто-то его встретил и насплетничал насчет мамы, вот он и вышел из себя.

— Дедушка! Милый!

Я обнял его — так соскучился! Он только раз не очень ласково поцеловал меня и пошел дальше. Я бросился за ним.

— Вернись, это недетское дело! — закричал дедушка.

— Я тоже хочу отомстить Калантару! Я так ждал тебя!

— Ишан! — Дедушка заколотил своими ручищами по воротам Калантара.

— Калантар! — закричал я. — Если ты не трус, выходи!

Калантар вышел к нам в чистеньком халате, без чалмы, совсем домашний и не похожий на того, которого я видел в мечети.

— О, друг мой! — Он бросился обнимать дедушку. — Рад видеть человека, которому дороги судьбы нашей религии! Прошу в дом. И тебя, мальчик. Хоть ты и обозвал меня в тот раз, но я простил. Ибо в коране говорится: «Нет греха у того, кто не достиг еще семи лет».

— Ему уже больше семи, — сказал дедушка, — но не в этом дело.

— Заходи, брат мой, в этот приют для странников.

Он повел нас в дом, в такой же, как и наш, с виноградником во дворе. А мне всегда почему-то представлялось, что дом у Калантара мрачный и темный, там бродят дикие,

тощие кошки и с деревьев во дворе смотрят на вас филины.

— Ты обвинил меня когда-то в жульничестве, брат мой, — сказал Калантар дедушке. — Но теперь ты видишь, что я беден и нищ. Я сплю на дырявом одеяле, посмотри; и сандал мой совсем без угля. Мне важен дух бога, а не мирские сладости. Я все роздал беднякам. И властям я отдал два мешка муки для армии — вот справка... Садитесь, гости мои, грейте ноги в сандале. Я растопил его из старых, дорогих моему сердцу книг, иначе бы я замерз... Угощайтесь кишмишом, спасибо теще, прислала из деревни, чтобы я не умер с голода.

— Хватит, — сказал дедушка. Он не садился. — Все это я слышал сотни раз. Я хочу знать другое: почему ты проклинаешь мою дочь?

Калантар протянул дедушке поднос с кишмишом.

— Ешьте, гости мои, не обижайте...

— Что она сделала, моя дочь?

— Бери, мальчик, кишмиш. Ты любишь кишмиш?

— Нет!

Дедушка и Калантар помолчали.

— На то воля мусульман, — сказал Калантар. — Они потребовали, и я подчинился.

— Что сделала дурного моя дочь?

— Люди говорят, что она и этот мужчина... Она с этим мужчиной. В то время как муж ее на войне, рядом со смертью.

— Ее вина в том, что она помогает этому несчастному раненому?

— Прости, но люди говорят, что еще хуже...

— Дочь моя кроткая, любящая мать и верная жена. У нее и в мыслях не бывает дурного. И он болен, этот человек. А у этой толпы ослиц и бродяг есть доказательства? Кто поймал ее на месте преступления?

Калантар молча развел руками.

— Кто, назови!

Калантар протянул дедушке подушку:

— Приляг, брат мой, дай отдохнуть своим костям.

— Я плюну сейчас в твою бороду!

— Брат мой, успокойся.

— Допустим, она даже сделала зло. Но всякому злу есть только один судия — это бог. И ни ты, ни толпа этих ослов мусульман, ни мечеть — никто не имеет права судить человека. Ты опять нарушил предписание шариата, в тысячный раз нарушил, бычья твоя голова! А Нора моя чиста как слеза, которую она пролила сегодня при виде меня.

— Ну, если ты так уверен...

— Уверен! И хочу, чтобы ты не трогал ее больше. И унял эту толпу сумасшедших, этих ублюдков, которые воображают из себя людей бога. Все... Не хочется мне сегодня злить себя, хватит. Идем, Магди!

— Дай бог, чтобы в вашей семье было все благополучно. — Калантар протянул руки к потолку. — Аминь!

Когда мы вернулись домой, дедушка остановился во дворе, что-то обдумывая, затем помыл руки, долго вытирал их. И зашел к дяде в комнату.

Дядя привстал, увидев его, улыбнулся.

— Лежите, лежите... Выздоровливаете?

— Как будто бы да.

— Ничего, ничего. Я привез дыни. И сухих фруктов.

Пойдет вам на пользу.

Затем спросил у мамы:

— Как ты тут, Нора? Трудно тебе очень? Что пишет Анвар?

— Пишет, что воюет. О чем он еще может писать. Долго ты не приезжал, отец.

— Дела, дочка, год был трудным. Воды в реках мало. И хлопок не рос. Кое-как выкрутились.

Я послушал их немного, пошел в свою комнату и лег на кровать. И почувствовал, что страшно хочется спать. Никогда еще такого не было. Наверное, это от волнений, потому что волнений сегодня было больше, чем надо. Вот я и уснул среди бела дня.

Проснулся и увидел Марата. Он дергал меня за руку и чуть не плакал. Я вскочил.

— Что случилось? Где дедушка?

— Дедушка уехал. Он торопился.

— Зачем?

— И дядя ушел.

— Куда? С дедушкой?

— Нет. Дедушка сам по себе. А дядя сам по себе, — сказал Марат и, схватив свою сумку, убежал куда-то.

Я бросился в комнату дяди. Потом к маме.

— Мама! Мама! Почему вы молчите? Где вы? Где дядя? Почему вы спрятались? Я же вижу, вы спрятались! Я же вижу! Сейчас они выйдут все втроем — мама, дядя и дедушка — и засмеются. И скажут...

— А! — закричал я.

— А! — закричало эхо. И стало опять тихо.

Я кричал и бил кулаками в дверь. Потом упал на кровать дяди Эркина, на еще теплую, пахнущую лекарством, дядей кровать и заплакал, уткнувшись в подушку.

А когда выплакался, понял, что дяди Эркина больше нет.

Зачем ты ушел, дядя? Знаешь, как обрадуются теперь Медина и Калантар, выходит, они победили нас. А что мы скажем папе? Как он будет сердиться на маму, на меня за то, что мы не смогли удержать тебя! Мама такая храбрая, не побоялась их, смеялась им в лицо, а ты, мужчина... Эх, дядя, дядя...

Я молчал, не говорил тебе, даже себе боялся признаться... Но я немножко стыдился за тебя, понимаешь? Перед Маратом,

перед мамой и даже перед собой. Но ведь он тяжело болен, он не мог... Все равно. А как же на войне? Папа пишет, что даже тяжелораненые и те сражаются...

Я уверен, что он трус. И сейчас он струсил. А трусов я терпеть не могу. Нет, я не могу ему простить. Он испугался. Сбежал, бросил нас. Мама столько лечила его, переживала, а он обманул и сбежал. Ну и пусть. Пусть он уходит. Не нужно мне такого дядю...

— Не нужно! — закричал я. И краешком уха слушал, не идет ли он назад. Если бы он вернулся... я бы простил... Вот сейчас, вот сейчас если бы он вернулся...

Нет, не простил бы. Он трус!

Я толкнул дверь. Выбежал во двор. Тихо. Никого.

— Мама!

Мама, мама, мама, что с тобой? Ты сидела почему-то на полу. Ты сидела так час, два, не меняя позы, будто превратилась в каменную.

— Мама!

Я звал тебя, кричал и плакал от страха, но ты не откликнулась.

Мне почему-то было боязно дотронуться до тебя. А что если ты спросишь, где дядя? Что я скажу тогда? Мне было стыдно за него. И больно за тебя, мама. Разве можно было простить ему трусость? Нет! Но зачем, зачем ты так страдаешь за него? Разве ты не видишь, что он обманул нас?.. Ничего, потерпи немного, скоро приедет папа, и все будет хорошо, как раньше, все просто и понятно.

— Мама!

— Да, Магди... иди ко мне.

— Скоро приедет папа.

— Папа? Почему так темно, уже ночь?

— Нет еще...

— От папы письмо?

— Завтра будет письмо. Мы поспим, проснемся, и придет Марат с письмом.

— Да, да, письмо. Иди-ка на улицу и посмотри. Он должен написать письмо. Он не может так уйти. Иди скорее...

Я вышел во двор, постоял немного и хотел уже вернуться и сказать — нет, он не написал, он боится, потом вспомнил, побежал на кухню, схватил глиняного солдатика, которого лепил целую неделю, делал глаза, нос, винтовку, разукрасил, я взял и бросил его на землю: вот тебе! вот тебе! И не стыдно тебе! И почему это мама так убивается из-за тебя? Непонятно. Я говорю о письме папы, а она ждет твое. Не пиши нам и не возвращайся. Ты нам не нужен. Ты всегда дрожал и боялся соседей и никогда не любил ни меня, ни маму.

— Внимание! — сказал папа. — На зарядку становись!

— Магди! — От голоса мамы у меня по спине забегали мурашки. — Не надо! Что ты делаешь?

— Я... слушаю папу...

— Не надо!

Она ударила по пластинке.

— Не надо, у меня голова... Эта пластинка старая, она хрипит... Голова разламывается!

И бросилась на улицу. Наверное, искать письмо дяди Эркина.

Что делать? Бежать за ней? Остаться с папой, с его голосом?

— Вним... трг... ног... Маг... — и пластинка кончилась, замолчала.

— Папа!

Он молчал, разорванный и уничтоженный.

Зачем она это сделала? Ведь это был папа, его голос! Что плохого сделал ей папа?.. И кто теперь будет со мной разговаривать, кто? Дядя сбежал, мама молчит, а папы уже больше нет. И я остался один, один, совсем один, как в том темном и страшном лесу...

— Эй, Магди! — В воротах показалась полоумная Медина, зверюга. — Не придет он больше, твой новый отец-то. Сбежал. Все. Не жди...

«Дура», — подумал я и направился в госпиталь. Мама, наверное, там. Наверное, она не может быть больше одна, привыкла лечить кого-нибудь и хочет взять из госпиталя нового раненого. Хорошо было бы! Медина, наверное, думает, что победила нас. Как бы не так! Возьмем себе нового раненого, и пусть она себе локти кусает. Он покажет ей, этот новый раненый, как клеветать на маму! Он покажет всем, он будет сильный и смелый, настоящий солдат.

Кто знает, а вдруг мама возьмет к нам самого настоящего генерала, тогда Медина вообще умрет от злости! Он как гаркнет: «Разойдись!» — только держись! Приведет своих солдат, целый полк, тысячу человек, нет миллион, и возьмут они Калантара за шиворот и выбросят на небо к его любимому богу, пусть там и живет. А с Мединой и другими старухами разговаривать даже не станут. Дунут на них разок, они и улетучатся.

Не успел я помечтать, как был уже возле госпиталя и увидел маму. Она стояла у дверей с какой-то тетей в халате, и обе они плакали.

— Ничего, Нора. Вот увидишь, вернется. Не может же он один, такой слабый, уйти куда-то...

— Зачем ты пришел? — спросила мама. — Иди домой.

— Не прогоняйте мальчика, ведь он тоже переживает, — сказала тетя. — Заходи, мальчик, сюда, погрейся.

— Идем, мой маленький, — сказала мама.

Мы зашли в коридор и стали греться у печки. Мама все время выходила на улицу, потом снова грела руки, — молчала и плакала.

— Мама, — сказал я, — давай возьмем другого раненого, только смелого и хорошего!

Как я пожалел потом!

— Не смей так говорить! Иди домой!

И я ушел. Пусть, пусть, она еще пожалеет, вот возьму и уйду куда глаза глядят. Пойду искать папу...

Все равно дядя Эркин не найдется, сколько бы его ни искали. И не напишет маме. У него нет ни карандаша, ни бумаги.

Ладно, пусть уж разок напишет, чтобы она не волновалась. Но только пусть не приходит, все равно я его не прощу.

Надо положить для него возле ворот карандаш и бумагу, пусть мама успокоится.

И опять эта дура Медина перед глазами, опять она радуется.

— Ничего, — сказал я ей, — сегодня к нам придет генерал. Тогда вы порадуетесь...

Мне было жутко, Марат. Я злился на них, взрослых, оттого, что у них все так сложно и запутано — отец где-то на войне, был с нами дядя Эркин, мы привыкли к нему, все было хорошо, но он взял и сбежал, а мама совсем потеряла голову, просто не узнать ее, и дедушка, бывало, приедет, шутит, смеется, а тут на тебе — так быстро уехал.

Все перевернулось вверх ногами, все запуталось. Да ты еще со своей вечно мрачной физиономией. Мы почему-то говорим шепотом:

— Что, он ушел насовсем, да?

— Слушаешь всякие сплетни, да? Но мы возьмем другого, получше, генерала. Мама пошла в госпиталь.

— А правда? Правда, что они любили друг друга?

— Как ты сказал? Повтори!

— Что здесь плохого, дуралей? Честное слово, я ведь не говорю гадости, как Медина. Любила — это значит, я читал, это так хорошо, что люди убиваются.

— Убиваются? Зачем убиваются?

— Да нет же! Понимаешь, черт возьми, ну, это так хорошо, так хорошо и приятно, что если у людей отнимают их любовь, они могут убить. Что ты так уставился на меня? Ты еще маленький чересчур и глупый, и я не могу объяснить, что такое любовь.

— Это как в сказке о Фархаде и Ширин, да? Как о Золушке и добром Принце? Как Буратино и Мальвина, да?

— Да, да! Как Фархад и Ширин. Теперь ты понял?

Да, Марат, конечно же, я начинаю кое-что понимать. Любовь... Просто ты первый произнес это слово, и я начал понимать. Все говорили гадости, и ругались, и злились, но никто не сказал: любовь. Никто не сказал, что это любовь, и я не понимал. Если бы мне немного раньше сказали об этом, если бы мне объяснили, что это то же самое, что и Фархад и Ширин, Буратино и Мальвина, что это то, из-за чего люди радуются, страдают, и плачут, и становятся совсем другими, и могут делать только добро, как Фархад, и искать золотой ключик счастья, как Буратино, и драться, и побеждать страшного Карабаса-Барабаса.

И вдруг я вздрогнул, испугался. А как же папа? Как же мой папа? Ведь он тоже любит тебя, мама, он ведь тоже, как Буратино, как Фархад, как добрый Принц! Как же он? Ты любишь и папу, и дядю Эркина, тебя любят и папа, и дядя Эркин. Опять все непонятно...

— Марат, скажи, ты говоришь, если отнимают любовь, люди убивают?

— Да... Как орел, у которого отнимают детеныша.

— Тогда как же отец? Неужели и он станет убивать? А можно так, Марат, как я? Люблю сразу и маму, и папу, а они вдвоем — меня?

— Взрослые, наверное, не могут, Магди.

— Могут! Могут! Врешь! Ты сам ничего не знаешь! Они смогут. Папа и мама смогут.

Я прошу тебя, отец, умоляю тебя, сделай так, чтобы ма-

ма любила и тебя, и дядю Эркина, если она не может без него. Пусть все останется по-старому. И никто не убивает никого, отец. Сделай так. Ты ведь добрый. Разве тебе жалко, чтобы мама любила и его? Зато я буду любить только тебя одного. Я ни чуточки не люблю его, и, даже сколько бы ни пытали меня, я все равно буду кричать: «Не люблю его, трусса, ненавижу!»

Кто знает, может быть, маме очень нужно любить его. Может быть, ей недостаточно любить тебя и меня. Такая у нас мама, ничего не поделаешь. Ты ведь сам говорил, помнишь, нашей маме нужно любить всех людей, весь мир...

Я вышел на улицу, посмотрел; а вдруг покажется дядя Эркин, вдруг он возвращается.

Пусть возвращается, если это так нужно маме. Но все равно я не буду любить его. Я буду спать с тобой, папа, и мы шепотом будем выдумывать всякие истории — пусть дядя не слышит, я с ним не играю...

Мы не спали. Я лежал в кровати, а мама сидела за столом. Оба чего-то ждали. Было тихо-тихо... И только часы никого не ждали, а продолжали, как всегда, бить — девять, десять, одиннадцать...

Мама прислушивалась. И я тоже прислушивался. Чего она ждет? И чего жду я?

Близко к полуночи мама еще больше забеспокоилась, чаще начала выходить во двор и возвращалась оттуда еще более подавленной и растерянной.

И вдруг я услышал ее страшный крик во дворе, выбежал из комнаты на мороз в одной рубашке.

— Лампу! — послышался мамин голос. — Скорее...

И я понял. Стоял как очумелый и смотрел, и ничего не видел. Только две темные фигуры у ворот.

Я осветил лампой и увидел его. Вернулся-таки! Дядя Эркин лежал возле порога, и мама тормозила его, звала, рыдала и смеялась. А я стоял, покачиваясь, не зная, что и по-

думать: хорошо это или плохо, что он вернулся. И никак не мог разобрать из-за проклятой лампы, жив он или нет.

И не помню уже, как мама сумела одна, без посторонней помощи поднять его, поставить на ноги и довести до комнаты. И когда она уложила дядю, и когда он открыл глаза, мама начала растирать ему руки, лицо и целовать их, целовать!

Я ушел к себе в комнату, лег и дал себе слово сразу же заснуть, чтобы не видеть ничего этого, ни дядю Эркина, ни маму.

Все это выдумки, говорил я сам себе, все это я придумал только что. Ничего этого не было, дядя не возвращался, и мама не целовала его, все это мне почудилось, потому что я простудился и сильно заболел.

Зачем вы вернулись, дядя Эркин? Зачем? Все было хорошо, и я уже начал привыкать к тому, что вас больше нет, и приготовился ждать папу, чтобы он приехал, наконец, и все пошло по-старому.

Пусть мама целует вас, пусть! Пусть она любит вас, пусть! Делайте, что хотите, и живите, как хотите — вы, взрослые. А я притворюсь, что ничего не случилось, что вы ушли навсегда и не возвращались. И буду жить один и ждать папу. Буду ждать его долго-долго. И он придет и все объяснит мне. Хватит, я не могу больше, взрослые. Ведь мне всего семь лет и четыре месяца...

X

— Папа!

Он стоял возле моей кровати, улыбался странной из-за рассеченной губы улыбкой, постаревший, с усталыми глазами. Чуть поодаль стояла мама и тоже смотрела на меня.

— Папа, папа!

Я знал, что проснулся, что открыл глаза, но не верил — все это могло случиться только во сне.

— Магди! — голос папы пришел откуда-то сквозь туман в голове, голос не чистый, как раньше, а со свистом из-за расщепленной губы. — Вставай, Магди, я приехал...

— Приехал? — Я все думал, что это сон.

— Здравствуй, мальчик... Ну, вставай же!

— Сейчас, сейчас... Только ты не уходи. Ты так редко мне снишься.

— Он все еще спит, — услышал я голос мамы. — Ну, пусть спит... Заснул только к утру.

— Да, мама, я еще чуточку посплю. Вы с папой очень редко мне снится. Теперь все будет хорошо. Папа вернулся... Что с твоей губой, папа? Тебя ранили?

— Ничего, все в порядке. Ну, открой глаза, посмотри, — папа поднял меня с постели и посадил на кровать.

Папа! Стоял живой, настоящий мой папа! Нет, я не сплю, я держу его руки, вот они, смотрю ему в лицо, и губа какая-то странная... Только губа не его...

— Папа! Приехал!

Приехал мой дорогой, мой родной папа, папа мой приехал с войны, живой, не убитый никем. Ведь правда же, это не обман, не выдумка, что он приехал!

— Ну, не надо, мальчик, не надо, будь мужественным, помнишь, как Буратино?

— Ладно, еще немного, я буду мужественным... Я же не плачу. Я так долго тебя ждал, папа, даже устал, не верил, что ты когда-нибудь приедешь. А ты приехал, ты со мной опять... А губа, губа... что сделали они с твоими губами?

Он опустил меня на пол, и я стоял перед ним, и все еще не верил, и злился на себя, и радовался, и не понимал, что они сделали с его лицом. Уехал таким красивым, а вернулся немножко другим...

— Сколько у тебя орденов? Ты стал героем?

— Всего одну только медаль мне дали. Да и то перед самым отъездом.

— Где? Покажи!

— Да вот она...

И он достал из рюкзака медаль и приколот мне на грудь.

— Мама, ты видишь?! Настоящая!.. Подари ее маме.

— Хорошо, маленький... Нора, ты слышишь?

Мама хотела сказать что-то. Но только подошла ко мне, потрогала папину медаль...

— А ты уедешь? Не уезжай больше, папа.

— Через две недели я должен обратно, мальчик... Война еще не кончилась...

— Я столько ждал! И мама ждала. И все ждали. А ты, ты вдруг опять уедешь!

— Война, малыш.

Мама стояла, прислонившись к стене, и молчала. Хоть бы она поддержала меня. Странная какая-то мама. Не радуется, не бегаёт, как раньше, когда папа приезжал из командировки. Наверное, мама уже устала радоваться, ведь папа приехал рано утром, когда я еще спал.

— Пап, ты уже познакомился с дядей Эркином? Помнишь, мы писали о нем?

— Нет, не успел. Дядя спит...

— А как ты там воевал? Смешно же ты застревал между деревьями, помнишь?

— Помню, конечно.

— Ты метко стрелял? Ты уже не боишься стрелять? А почему ты нам не писал о войне?

— О войне писать невозможно, мальчик. Много такого, о чем невозможно писать.

Две недели, пятнадцать дней, папа будет с нами, пятнадцать дней!

— Папа, папа! А ты видел живого, настоящего генерала? Правда, что они высокие, раза в два выше тебя, и голос у них сильный, как по радио?

— У моего генерала голос был пискливый, как у мошки. А ростом он был чуть выше тебя.

— Эркин проснулся, — вдруг сказала мама...

И он открыл дверь, споткнулся о порог, покраснел, пошел прямо к папе.

— Здравствуйте, здравствуйте! Простите, как всякий солдат, попавший в тыл, заспался. Что на фронте? — говорил дядя Эркин скороговоркой, будто боялся, что забудет то, о чем он решил спросить папу, будто заучил все, что хотел спросить.

— Немцев погнали из-под Москвы, — сказал папа.

Они стояли друг против друга — дядя Эркин в папином халате, большой, неуклюжий, не зная, что делать с руками, куда деть их, и папа — чуть ниже его и чуть уже в плечах, с умными, все понимающими глазами, прямо оттуда, с войны, из-под пуль и смерти. И рядом мама...

— Дядя Эркин, папа привез орден, настоящий, — сказал я.

Все посмотрели на меня, улыбнулись, вздохнули облегченно, будто каждый из них, взрослых, сбросил с плеч тяжелый камень.

Дядя Эркин осторожно дотронулся до медали на моей груди и сказал:

— Да, настоящая... Гордись папой!

— Вот бы и Марату такую медаль!

— Это какой Марат, малыш? — спросил папа. — Тот, что приносит мои письма?

— Да, папа. Ты еще с ним познакомишься.

— Что-то его давно не видно, — сказала мама, и дядя Эркин поддакнул ей.

Смешные эти взрослые; что с ними стряслось сегодня?

Все занялись мною, засыпали вопросами, будто им не о чем говорить между собой.

— Папа тоже был ранен, — сказал я дяде Эркину. — Видите губу? Расскажи, папа, как тебя лечили.

— Да никак. Взял перевязал губу, и все прошло.

— Как перевязал? Ты знаешь, что говоришь? А если бы инфекция? — сказала мама.

— Какая там инфекция! Все к чертям полетело, все микробы сгорели в этой войне!

— Все равно, — сказал дядя Эркин, — надо было принять меры предосторожности.

— А как вы себя чувствуете?

— Лучше, — сказала вместо Эркина мама, — намного лучше.

— Уже собираюсь обратно.

Обманывают они папу, не лучше. Плохо с дядей Эркином, я вижу. Часто у него поднимается такая температура, что мама вызывает «Скорую помощь», потому что сама от страха не может справиться. Никогда, наверное, он уже не сможет вернуться на войну. Мама об этом не говорит больше... Не вспоминает о войне и сам дядя Эркин...

Папе не терпелось выйти скорее на улицу, побыть одному. Он ни за что не хотел взять меня с собой, сколько я ни просил.

Наконец — ура! — он сдался и сказал:

— Одевайся.

А я ему:

— Пойду, если ты наденешь медаль.

Папа подумал, подумал, махнул рукой и приколол медаль себе на грудь. И мы пошли. Взялись за руки, как в былые времена, папа делал громадные шаги, два моих шага, и я бежал, чтобы поспеть за ним.

Как назло, на улице никого не было. Никто не мог видеть папину медаль, никто из ребят не завидовал мне.

А вот Медина тут как тут. Наверное, целый день только тем и занимается, что смотрит в щелочку ворот, чтобы не пропустить никого, кто появляется на улице. Вот она увидела папу в щелочку, бросилась ему навстречу.

— Здравствуйте, инженер! С приездом, инженер! Слава богу, что вы живы, здоровы... Тут мы без вас как без глаз, совсем ослепли от непонятных вещей...

Отец остановился и хитро заулыбался:

— Что же вам непонятно, соседка?

— Ой, как вам все это сказать! — Медина бегала во-круг моего отца, становилась то справа от нас, то слева.

— Остановитесь же наконец! Что это с вами?

— Я не верю слухам, инженер, я женщина трезвая, боже сохрани. Я даже разругалась со всей улицей из-за докторши Норы... Люди говорят, что она...

Папа молодец, даже не изменился в лице, только рука его дрогнула в моей руке. Он сказал:

— Вы знаете, уважаемая Медина, притчу о лошади, которая беспричинно лягалась, и так до тех пор, пока у нее не оторвалась нога? Знаете?

— Да, но...

— Все это ложь, соседка. И мне просто нечем отблагодарить вас за вашу чуткость.

Медина, как изумленная коза, тихонько бляла.

— Что вы, инженер... не надо... я так, из дружбы к вашей семье. — И вдруг пустилась бежать к своим воротам. — Трус ты, не мужчина! Жена твоя развратничает, а ты смеешься.

Папа тоже вышел из себя и закричал:

— Наиблагороднейшая мусульманка Медина, не злите меня!

И папа шел, и рука его дрожала в моей руке, как будто его схватила малярия, и он все время чертыхался: черт возьми! Черт возьми!

Мы шли, шли по незнакомым улицам, где я никогда не был, и пришли почему-то к крепости, туда, где кончался город. Стали карабкаться вверх по белой, совершенно белой тропинке. Папа лез, тянул меня за руки и все время насвистывал и молчал, и мне было непонятно, что же мы будем делать на крепости.

На самой высоте ноги у меня подкосились от страха, и я сел. А папа стоял, смотрел на город внизу, на сто кубиков из глины, рассыпанных как попало, будто ребенок играл в кубики, затем его испугали, и он рассыпал их как попало и убежал. И так и не вернулся больше, чтобы собрать их, поставить рядами, ровно и правильно.

Потом папа долго смотрел туда, где были поля, далеко-далеко уходила земля, туда, где были еще города, леса и реки, туда, где была война.

Что он там видел? О чем он думал?

Может быть, он видел то, что видел потом я, лет десять спустя, когда в самые грустные и невыносимые минуты приходил сюда, на крепость, и смотрел, смотрел вдаль, туда, где было просторно, много солнца и воздуха, туда, куда мне хотелось идти и идти, ни о чем не думая, просто идти, и все, и никогда не останавливаться, потому что там, мне казалось, человек настолько свободен, независим, что может легко превратиться в дерево, в птиц, в облака, во все чистое и бесхитростное.

Может быть, отец сейчас и думал о том, о чем я буду думать потом, лет десять спустя?.. Может быть...

Но вдруг он сказал:

— Побежали вниз! Ну! Быстро!

Все бежало и свистело за нами, все мчалось и догоняло нас.

— Вот и чудесно! — сказал отец уже внизу. — Теперь все чудесно!

Потом он привел меня в парк, угрюмый и голый. И мы сидели там на старой скамейке, сидели, молчали, затем я что-то спрашивал у папы, а он не отвечал, не слышал, только изредка поднимал голову, смотрел на меня, улыбался в ответ и молчал.

И, когда мы уходили из парка, он снова сказал:

— Теперь все хорошо! Все хорошо!

Мы опять шли по каким-то незнакомым улицам, останавливались почти возле каждого дерева, и папа смотрел на их верхушки, думал о чем-то, думал...

— Папа, что с тобой?

Но он не слышал, будто меня вовсе не было.

Я начал приставать:

— Идем домой. Ты сегодня какой-то непонятный.

— Да, — говорил папа, — малопонятный.

— А почему?

— Почему, почему! — передразнил он меня.

— Когда мне что-нибудь непонятно, я знаю.

— Счастливец!

— А ты, разве ты несчастный?

— Ерунда! Марш домой!левой, левой, левой!

— Мама, мама! Я же говорил, придет папа, отомстит за тебя. Ты бы видела, как Медина бежала без задних ног!

В комнату вошел медленно-медленно дядя Эркин. Сел за стол и уставился на меня. Как он побледнел! Что с ним? Опять был приступ? И почему у мамы такие глаза? Она плакала?

— Где вы были? — спросила мама.

— На крепости. Потом папа водил меня по разным улицам, где я никогда не был.

Дядя Эркин встал и начал расхаживать по комнате взад-вперед.

— А еще? — спросила мама.

— Еще? Еще папа чертил на песке всякие непонятные значки. И еще я забыл, где мы потом были.

Папа вымыл руки и вошел в комнату, где мы сидели.

— Ты, конечно, уже все рассказал? — он потрепал меня за волосы.

— Вы проголодались? — спросила мама.

— Очень! — воскликнул папа. — Воздух такой свежий...

Мама вышла на кухню, и несколько минут все мы молчали. Я ждал... И дядя Эркин вдруг заговорил первым:

— Я... я очень хотел бы покончить со своими болезнями к вашему отъезду. И мы бы уехали вместе.

— Ваше счастье, что смогли подняться через три месяца, — ответил папа. — Успеете.

— Да, мне повезло...

— А что говорит наш доктор?

— Наш доктор говорит: скоро. Но ведь все так неопределенно. И это мучает.

— Ничего, ничего.

— Но я не калека, не обреченный!

— Вы обязательно поправитесь. Потерпите немного. Терпение — это мужество.

— Спасибо. Спасибо.

Тихо вошла мама. Постояла у двери, послушала и начала подавать на стол. Сухие фрукты, дыню, лепешки — все так, как было много дней назад, когда папа еще не уезжал на войну.

— Я тебе помогу, — сказал папа. — Чего еще не хватает? Ножа. Тарелок. Они там, на старом месте?

— Да, на старом.

И папа пошел на кухню, и вернулся с приборами, и стал, как прежде, хозяйничать за столом, резать хлеб, расставлять тарелки.

— Отличная дыня! — сказал он, подбрасывая ее.

И все расселись, и папа, по обыкновению, перед тем, как резать, стал крутить дыню на столе.

За столом взрослые опять молчали.

Потом мама пошла на кухню мыть посуду, и папа хотел, по обыкновению, помочь ей, но она запротестовала, и мы опять остались втроем — я, папа и дядя Эркин.

Дядя смотрел на папу открыто, и папа тоже вел себя с ним дружелюбно, а я радовался. Они привыкнут друг к другу, эти взрослые. Они обязательно подружатся. И мама, которая сейчас очень встревожена, снова придет в себя, и мы будем жить вчетвером — я, мама, папа и дядя Эркин, будем жить просто и хорошо. Скорее бы, скорее бы настал этот день!

Потом мы долго решали, как будем спать. И решили — мама в моей комнате, а мы с папой в большой, летней. Прижмемся друг к другу на одной кровати, и нам будет тепло. Я буду ночью поправлять одеяло, чтобы оно не сползло с папы, буду ложиться первым в холодную постель, и, когда она согреется, папа ляжет рядом.

А перед сном мы будем лежать и смотреть, как прыгают тени на потолке, и тихо, вполголоса, чтобы не разбудить маму и дядю Эркина, выдумывать всякие истории. И папа будет рассказывать мне о войне.

А утром я буду пересказывать ему свои сны — если приснится змея, пойдет дождь, если деньги — у меня заболит зуб, а если покойный дядя Фархад, то я не знаю, что будет.

Папа сказал:

— Сегодня я тебе ничего не буду рассказывать, устал страшно с дороги. А завтра, послезавтра, все пятнадцать ночей — пожалуйста.

Он сказал: спи, а сам не спал. Я смотрел на него краешком глаза, а он часто-часто мигал ресницами, вздыхал, а когда замечал, что я не сплю, сердился:

— Спи уже!

— Положи мне руку на плечо, тогда я сразу усну.

Минуты две я притворялся, затем кончалось терпение:

— Пап, тебе понравился дядя Эркин? Правда же, он славный?

— Я сплю.

А сам не спал, я видел.

— Ты с ним будешь дружить?

Папа будто не слышит.

— Как хорошо мы гуляли! Завтра пойдем все вместе, ладно? И мама, и дядя Эркин.

Я говорил еще что-то, еще. Дал себе слово не спать, а смотреть на папу, потому что он тоже не спал.

А утром все было как в сказке с хорошим концом. Папа сбросил с меня одеяло и приказал:

— Собирайся, малыш, к дедушке! Видишь, я уже почти готов.

— Сейчас, папочка!

Во дворе в окно я увидел маму.

— Мама, мама! Ты слышишь, мы едем к дедушке!

Мама остановилась, посмотрела на папу, на меня...

— Без тебя нам будет скучно, мама. И дядю мы тоже возьмем.

— Дядя может простудиться, — сказала мама. И еще она сказала: — Мы поедем все вместе летом, когда дядя выздоровеет.

— Ты не едешь?

— Да, Магди, дядя может простудиться, — согласился папа.

Я подумал и тоже решил, что дяде лучше остаться, и мы все вместе, и мама тоже, обязательно поедем в деревню летом.

Зимой нельзя лазить по деревьям и срывать яблоки и абрикосы, нельзя купаться в речке, бегать и прыгать по траве.

Зимой приходится сидеть дома, засунув ноги в теплый сандал, и есть сухой урюк, сухие лепешки...

Вначале я немного дулся на дедушку за то, что он так загадочно уехал в тот раз. Отвечал ему коротко «да» или «нет», папа тоже — «да», «нет», еще он говорил «разумеется» и «вероятно», и все мы втроем — я, папа и дедушка, — казалось, были чужими.

На третий день дедушка приготовил плов, очень вкусный плов варил он, и мы сели вокруг теплого сандала, говорили вначале о хлопке и о дынях, о зиме, а потом, я уже не помню, то ли дедушка, то ли папа, начал разговор о маме.

— Что ты мне объясняешь? — сказал дедушка. — Как только ты уехал на фронт, Нора заявила: не хочу жить постарому!

Папа долго молчал, и все перестали есть. Потом он ответил:

— А что мы знали о ней?! Веселая, добрая, избалованная. Любит нас с Магди. Вот и все.

— Что ей еще нужно было?

— Она сама, может быть, думала, что это все, что в ней есть. А может быть, и нет. Может быть, она всегда чувствовала, что способна на большее.

— Уж ей-то не приходилось жаловаться на судьбу!

Папа, казалось, не слушал дедушку. Он говорил тихо, как будто самому себе:

— Но мы не могли и не хотели этого понять...

Дедушка хотел сказать что-то, но не решился. Затем обрattился ко мне.

— Иди погуляй, Магди.

— Пусть остается, — возразил папа, — это его тоже касается. Он должен многое понять, наш мальчик... А потом вдруг оказалось, что есть человек, для которого она не игрушка, не развлечение, а сама жизнь. Да, жизнь. Она стала необходимой, и то, что она прятала от нас, прорвалось на-

ружу. И теперь Нора — это совсем другой человек, сильный и смелый человек. Понимаешь, отец. Мне кажется, что она любит Эркина за то, что нужна ему. Ну, понимаешь, ей дорог человек, который помог ей стать другой...

— А как же вы?! Ты? Магди?

— Но и нам с Магди она очень нужна...

— Папа! — Я прервал его. Я впервые видел папу таким грустным, и мне хотелось плакать.

Я выбежал из комнаты и шел, шел по полям, по холодным и замерзшим полям. Тут-тук — стучали мои каблукы о замерзшую землю, и казалось, что это был чей-то голос, как будто я разговариваю с кем-то.

Да, я все это видел, думал я, я давно заметил, что мама стала другой. Но я многого не понимал и не знал, хорошо это или нет. Папа сказал: мама стала сильным и смелым человеком. А мы не замечали всего этого. Она очень хотела быть сильным и смелым человеком, быть самостоятельной, чтобы делать все самой. Я не знал, хорошо это или нет, я боялся: как быть с ней, когда она станет самостоятельной? Но папа сказал: это хорошо! Теперь у нас все сильные и смелые: папа и мама тоже. И мне надо, мне тоже надо делать все, чтобы быть таким же, как они, а не плаксой и пай-мальчиком. И я догоню их, я тоже буду сильным и храбрым и тоже что-нибудь сделаю, буду лечить кого-нибудь, и когда вылечу, папа скажет: теперь и Магди стал другим человеком...

...А на следующий день мы все втроем — я, папа и дедушка — вернулись в город, к маме.

Вот и все, Марат, вся история. Война была слишком долгой, дни шли и шли, а война все не кончалась.

И опять мы разносили с тобой, Марат, страшные черные бумажки, и опять ждали от папы смешных писем, и считали дни, когда он вернется.

И не только мы, все ждали своих с войны, все надеялись... Только его уже никто не ждал, нашего дядю Эркина, только он так и не смог найти свой дом, хотя мама делала все, чтобы он выздоровел. Вскоре после отъезда папы на войну его не стало.

И хотя сейчас те далекие годы отодвинулись от всех нас, все равно мама иногда взгрустнет, поплачет. И папа тогда бывает особенно нежным и внимательным.

